

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

1/2025



В номере:

Исторические параллели

Что-то мы упускаем, что-то витает в воздухе, иначе откуда такой интерес наших авторов к событиям начала XX века? Неужели так явны параллели с нашим временем? В портфеле «ДН» — роман Марии Бушуевой о том, как из гимназического баловства, фронды и безобидного хулиганства формируется старшими товарищами «пушечное мясо русской революции», фрагменты книги Романа Сенчина об Александре Тинякове — поэте, антисемите, большевистском агитаторе, монархисте, профессиональном нищем, соловейком заключённом... В январском номере Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ и Олеся НИКОЛАЕВА в совместно написанном романе «Дело Гапона» расследуют загадочное историческое событие: убийство этого непростого персонажа русской истории.

«Но я сегодня говорю про свет...»

Новогодье — время особых желаний, надежд и раздумий, когда слышнее поэтический камертон. Об этом стихи Сергея ПАГЫНА: «Я говорить пытаюсь всё ясней./ Но если, смолкнув, заглянуть в начало,/ то сколько было жизнью и смертей,/ чтоб речь моя сегодня прозвучала».

И Юрий КАЗАРИН подхватывает эту вечную тему, уводя читателя в метафизический космос: «Ничего на свете больше нет — только этот, тот и третий свет».

В подборке Эгвины ФЕТ «Звёзд электрических печенье» — волшебство образов и магия времени: «чтобы потрогать жизнь снаружи, почти не нужно ничего».

А Владимир САЛИМОН то всматривается в детство: «Дед Мороз какой-то странный/ С виду — чистый Дед Мазай!», то размышляет и философствует: «Спустя мгновение и ты <...> сольёшься с вечным, сущим, тем/ божественным, неуловимым,/ тебе понятным не совсем,/ став с ним единым, неделимым».

Причастие по-японски

«...Небо и земля. Духовное и потребительское. Причастие кровью и плотью — и зеленая жижа с фасолевым пирожком...» В своем увлекательном культурологическом эссе «Испивая чашу» японовед, культуролог, специалист по межкультурным коммуникациям Юлия СТОНОГИНА со знанием дела проводит остроумную параллель между японской чайной церемонией и христианской литургией.

«Какой ужас! Вы путешественник...»

Сразу несколько авторов этого номера занялись «лирической географией»: писатель и музыкант из Перми Алексей РАЧУНЬ плывет на речном теплоходе в поселок Сылва (рубрика «Моя малая родина»); прозаик из Петрозаводска Дмитрий НОВИКОВ открывает для себя Якутию; писатель Василий АВЧЕНКО делится опытом того, как, уехав с берегов Тихого океана на черноморское побережье — за восемь тысяч километров от родного Владивостока, — остаться дома.

2024: книги-долгожители

По традиции, в январском номере подводим итоги прошедшего литературного года. Наши постоянные авторы — критики Евгений АБДУЛЛАЕВ, Ольга БАЛЛА, Мария БУШУЕВА, Татьяна ВЕРЕТЕНОВА, Константин КОМАРОВ, Борис КУТЕНКОВ, Александр МАРКОВ, Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Валерия ПУСТОВАЯ, Елена САФРОНОВА, Александр ЧАНЦЕВ, Кирилл ЯМЩИКОВ — прогнозируют судьбу прочитанных книг.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2024.
Подписано в печать 24.12.2024.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юрий КАЗАРИН. Только этот, тот и третий свет. <i>Стихи</i>	3
Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ, Олеся НИКОЛАЕВА. Дело Гапона. <i>Роман</i>	7
Сергей ПАГЫН. И опять начинается речь. <i>Стихи</i>	71
Игорь ВОЕВОДИН. Раскопки. <i>Рассказ</i>	75
Владимир САЛИМОН. Среди тростника и аира. <i>Стихи</i>	132
Анна МАРКИНА. Там дальше теплее. <i>Рассказы</i>	138
Елена КОЗЛОВА. Бумага. <i>Литературный триптих</i>	152
Владимир ТРЕНИН. Два рассказа	177
Максим ГУРЕЕВ. Мо-щи. <i>Рассказ</i>	195
Инна ВОЛОШИНА. Софа, София, Софико. <i>Рассказ</i>	204
Эгвина ФЕТ. Звёзд электрических печенье. <i>Стихи</i>	209

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Саша ПЫЛЬНИКОВ. Пять рассказов-мотыльков о сокровенном	213
--	------------

НАЦИЯ И МИР

Юлия СТОНОГИНА. Испивая чашу	218
------------------------------------	------------

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Алексей РАЧУНЬ. Штиль на Сылве. <i>Очерк</i>	226
--	------------

ПУТЕШЕСТВИЯ

Василий АВЧЕНКО. Широта крымская, или Пароль не нужен. <i>Очерк лирической географии: уехать за восемь тысяч километров – и остаться при этом дома</i>	236
Дмитрий НОВИКОВ. Сшивая севера суровой толстой нитью!	240

КРИТИКА

2024-й и другие годы: попытка прогноза. <i>В заочном круглом столе принимают участие: Евгений АБДУЛЛАЕВ, Ольга БАЛЛА, Мария БУШУЕВА, Татьяна ВЕРЕТЕНОВА, Константин КОМАРОВ, Борис КУТЕНКОВ, Александр МАРКОВ, Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Валерия ПУСТОВАЯ, Елена САФРОНОВА, Александр ЧАНЦЕВ, Кирилл ЯМЩИКОВ</i>	243
---	------------

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Перегородка с разноцветными стёклышками (А.Мамедов. «Шебеке: Ностальгические этюды. Эссе. Литературная критика»)	264
--	------------

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Тройка навсегда	268
-------------------------------------	------------

SUMMARY	272
----------------------	------------

Юрий Казарин

Только этот, тот и третий свет

* * *

И сквозь небес ты стонешь глухо,
и в небе шухер небольшой.
Ещё до воздуха, до голоса, до слуха,
где дышит слово кровью и душой,
как нержавеющей муха,
округлой круглой и чужой,
где воды оперённые — голубы —
в низины неба под землёй летят
и умирающие губы
сосновый воздух шевелят,
по нотам собирая срубы, —
и трубы медные гудят
по семь в поленницах — громада:
ни слёз сквозь слёзы снегопада,
ни сердце холода — не надо
любить и трогать в снегопад.

* * *

Снег идёт. Подходит к воде — и видит снег,
и стоит над собой, как чужой человек,
и стоит рядом с собой один —
чистит белый от холода апельсин,
держит долго себя в кулаке —
белые корки плывут по реке,
уходящей от снега в тайгу,
где следы на снегу
и верёвочка с пронизью золотой.

Пахнет ангелом и высотой.

Казарин Юрий Викторович — поэт, лингвист, доктор филологических наук, профессор кафедры истории театра и литературы ЕГТИ. Родился в 1955 году в г. Свердловске. Как поэт печатается с 1976 года. Окончил в 1981 году филологический факультет Уральского государственного университета имени А.М.Горького. Многочисленные публикации в журналах «Урал», «Октябрь», «Знамя», «Юность», «Новый мир», «Дети Ра» и др. Автор многих книг поэзии и прозы. Заведующий отделом поэзии журнала «Урал». Лауреат премий журналов «Юность» (1990) и «Урал» (1997), Всероссийской литературной премии им. П.П.Бажова (1999) и др. Живёт в Екатеринбурге.

Сердце серебра

Нет, в стекле немного этого стекла —
принеси мороза, снега и тепла,
паутины выдоха и вдоха,
ледяного вкусного гороха.
Паутина. Сердце серебра.
Пусть скотина топчет до утра —
до стекла, до стружки вдоль садов
парные заглушки, снежные игрушки,
глиняные кружки медленных следов.
Лужи собирают редкий свет —
словно в щель земную веет свет —
ничего на свете больше нет —
только этот, тот и третий свет.

* * *

Хвостина свистунья — не истина —
и отсохла давно, и не лиственна,
только рвёт окоём и траву,
разрубая до звёзд синеву,
если ближнего неба коснётся
и колодезной цепью напьётся,
словно спящий во сне наяву.

* * *

Кровь раскачала
лодки глухие углы
у причала
вдоль отраженья ветлы.

На скольжение воды по воде —
плакать тенью звезде.
Трав охвостья
нарядные.
гроздь моря — гроздь,
грозы мои виноградные.

Так нависли в саду
небом иным —
всю росу обойду,
стану, как лёд, ледяным.

* * *

Что-то по струйке воды с крыши
поднимается в небо. Выше
неба взоры твои —
так во сне ласточки, воробьи
и синицы
трогают в пустоте ресницы
Господа твоего:
зрящее вещество —
это ангелы, слёзы и птицы
поспешают в седины Его
выдохом Бога умыться...

* * *

Чашу к губам поднести —
господи боже, прости.
Запах пустыни и жажды глотнуть —
хмель собирается в путь:
в дорогие родные места,
там, где вечность не обогнуть,
где уста обнимают уста,
коли к чаше уста приросли
крепче земли...

* * *

Ледяное в луже блюде,
ношенных зеркал тряпье:
вот бы у огня очнуться —
сигареткой потянуться,
глубже смерти затянуться,
чтобы выдохнуть её.
И водой к воде нагнуться —
на воде вода лежит:
небом и водой дрожит.
А в ресницах птицы трутся —
из тоски и слёз берутся.
Клён летает не сходя —
с места, в небе ждёт дождя...

* * *

Почки слушают, как почки
 слышат палую листву:
 мёртвые — поодиночке
 приближают синеву,
 снега слабые комочки
 опускаются в траву.
 Почки смотрят, как листочки
 видят ветер — это почки
 помнят палую листву:
 звук зелёный наяву
 трогает ушные мочки.

* * *

Уткнётся дельфин в золотую корму,
 матрос — нерождённый, рождённый — очнётся,
 умрёт и воскреснет, и вскрикнет во тьму,
 и Бог обнаружится стужей колодца —
 и что-то над теменем в небо ворвётся
 и взглядом махнёт никому.
 Блеснёт никому и всему молодому,
 кто трогает смерти могучий кристалл,
 и душу протянет к последнему дому,
 где ты, убиенный, бывал.

* * *

Раскрипелся, как телега,
 тронулся весенний лес:
 стружка крови, стружка снега,
 сердце серое небес,
 и от берега до берега —
 без лыжни — двойной гонец:
 тронет гибельная нега
 сердце Бога, сердце бега,
 сердце смерти, наконец.

* * *

<p>Глухонемые сороки, болтуны и ябеды, вымажут из-под снежка высоту: вечной черёмухи белые ягоды — стужа на дёснах, на нёбе, во рту.</p> <p>Слово сказать — обмирая, обжечья: это наждачка — и речи, и слёз.</p>	<p>В окнах сияет отсутствие жеста — где тебя носит мороз...</p> <p>Воздух стеклянный полопался сверху, снизу сверкает, подлец. Речка живая захлопнула дверку — фильма замёрзла. Конец. Булькает в лунке прозрачный свинец...</p>
--	---

Владимир Вигилянский, Олеся Николаева

Дело Гапона

*Роман**

1. Зыбь и Зябь

30 апреля 1906, Озерки

Поезд вздрогнул, запнулся, тормозя и громко вздыхая.

— Выходим, — сказал щеголевато одетый человек с живыми быстрыми глазами. За ним на платформу прыгнул и его приятель — более грузный, с большими пушистыми рыжими усами.

— Озерки, Озерки, — пробормотал он. — Идём неведомо куда, найдём неизвестно что. Два идиота.

— Не сомневайся, Джонни! Увидишь, это будет сенсация. Сам подумай, что произойдёт, если мы первые найдём.

Они пошли по апрельской улице, разглядывая за заборами дачи.

— Какая весна нынче, а?

Щеголеватый потряс в воздухе руками.

— О, смотри, а тут ещё снег по канавам.

— Это дело полиции, Николаша, — задыхаясь от быстрой ходьбы, проговорил его спутник. — Всё как-то подозрительно. И на каких правах мы станем вламываться, расспрашивать? Как бы не схлопотать за это!

— Слушай, — Николай даже остановился. — Что ты всё время причитаешь? Полиция, полиция! Да она и ухом не ведёт! Это когда ещё было в моей газете

Вигилянский Владимир Николаевич, протоиерей, настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ, член Союза писателей Москвы, автор 5 книг, лауреат нескольких литературных премий, печатается с 1972 года.

Николаева Олеся Александровна, поэт, прозаик, эссеист. Профессор Литературного института им.А.М.Горького. Автор многочисленных книг стихов, прозы и эссе. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Перedelкине.

* Журнальный вариант.

напечатано про Озерки! Считай, недели три назад. Вся пресса полна самых невероятных сообщений, а полиция ни гугу.

— Ага, — саркастически отозвался Иван, которого приятель называл его детским именем Джонни. — То-то твои «Петербургские Ведомости» сообщили, что тело Гапона найдено в помойной яме в Колпино. А мы с тобой, как дураки, ринулись туда, а там — какой-то бедолага рабочий в канаве с проломленной головой. Так что не надо мне про твою газету. И что — на каждый труп будем теперь срывать с места? А ещё сообщали, что Гапон-де ушёл в монастырь... А ещё, что он преспокойно отдыхает у своей любовницы. А ещё, что он играет в казино где-то в Монако.

— Да, ошибочка вышла. Ну да мы, браток, ничего не теряем. Пройдёмся по здешним дачам; гуляючи, будем говорить, что мы художники, хотим снять что-нибудь на лето, будем ходить на этюды. Ничего подозрительного... А вон уже и дачи.

Они зашагали решительнее, прошли ряд домов, стараясь заглянуть за ограду. Кое-где за заборами принимались лаять собаки.

— Где собаки, туда не пойдём. И потом — я очень боюсь собак, — сказал Николай. — И думаю, там, где собаки, не может быть того, что мы ищем.

— Давай хоть для виду будем спрашивать, где что сдаётся, — предложил Джон. — А то нас могут и за грабителей принять. Смотри, дама какая-то местная подъехала... У неё и спросим.

К одной из дач вдалеке, у самого леса, действительно подкатил извозчик, и дама среднего возраста вошла в калитку.

— Сударыня, — кинулся к ней Николай, крича на бегу. — Позвольте поинтересоваться, не сдаёт ли тут кто-нибудь дачу? Мы художники. Я — Николай Кравченко, а это — Иван Владимиров. Очень у вас тут живописно. Хотелось бы здесь пожить, полюбоваться, поработать.

К ним неспешным шагом двинулся Джонни. Конечно, мать-англичанка имела полное право кликать сына на английский лад. А для Николая это было выражением дружеской близости. Да и Иван не возражал: он и сам иногда в кругу семьи называл свою жену Машу Марьей Гавриловной. Это звучало как-то по-пушкински.

Дама внимательно посмотрела на них, что-то прикидывая, и, по-видимому, успокоенная их весьма приличным и располагающим к себе видом, развела руками:

— Да я бы и сдала, но мне прежде надо жильца выселить. Второй месяц уже денег не платит. Пропал. Если пожелаете, можете зайти посмотреть, какие у меня условия. Но там ещё могут оставаться его вещи. Сейчас полицейские приедут, тогда и отопру дом. А без них, мне сказали, никак. Вдруг мы войдём, а жилец потом объявится и пожалуется, что у него что-то пропало. Нас и обвинят.

Тем временем на дороге показалась полицейская двуколка. Из неё вышли пристав Недельский и урядник Людорф.

— Мадам Звержинская? Вы хозяйка дачи? — спросил пристав.

Дама кивнула.

— Отпирайте дверь. А это кто — родственники ваши? — пристав показал на художников.

— Новые арендаторы, — ответила Звержинская.

— Свидетелями будут.

Они вошли на веранду и далее — в большую комнату.

— Ух, холодно, сыро. Видно, целый месяц тут не топили. А ведь знаете, этот Путилин, жилец, такой был по виду достаточный человек! — проговорила Звержинская.

Они оказались в большой светлой комнате, оклеенной дешёвыми, но чистыми обоями. Мебель была типично дачная, недорогая и, как видно, изрядно послужившая. Прошлись по комнате, оглядывая.

— Надо бы затопить камин, — сказала хозяйка.

Иван с готовностью принялся за дело. Он сел на корточки перед камином с обгорелыми поленьями, вырвал из блокнота листок и принялся чиркать спичками. Но они безнадежно отсырели.

А Николай подошёл к двери в другую комнату и распахнул её.

— Не положено, — предупредил пристав. — Мы должны входить первыми.

Впрочем, в комнате ничего и не было, кроме стола, стульев и дивана. Николай прошёл по коридору и заметил:

— Там ещё лестница на второй этаж.

— Куда же вы так торопитесь, — проворчал урядник, — поперёк батьки. Никак поскорее хотите заселиться?

Он зажёл в коридоре свет и медленно поднялся по ступеням. Николай проследовал за ним. Двинулся наверх и урядник, а Иван с хозяйкой продолжили попытки разжечь огонь.

На втором этаже взору открылось большое помещение с низкими потолками. Пахло спёртым удушливым воздухом: какой-то кисло-гнилостный запах. Здесь был беспорядок. Два стула лежали на полу, стол был сдвинут, скатерть на нём — скомкана, повсюду валялись окурки, спички, пустая коробки из-под папирос «Кадо».

Николай распахнул окно и подошёл к запертой двери в соседнюю комнату.

— Ничего здесь не трогайте, — строго сказал урядник. — Тут замок. — Урядник обернулся к приставу. — Ключ нужен.

— Позвольте ключ, — крикнул вниз пристав.

Звержинская подошла к лестнице, протянув руку к крючку на стене, нащупала ключ и, поднявшись на несколько ступенек, протянула его приставу:

— Зачем только запирали? Что там может быть? Заходите, только зажгите свет, выключатель слева — там может быть темновато.

Урядник распахнул дверь в маленькую тёмную комнату со скошенным потолком и крошечным окном, шагнул внутрь и замер. Следом за ним устремился и Николай, но тоже запнулся на пороге.

— Ваня, — позвал он друга каким-то не своим, сдавленным голосом, обернувшись. — Иди сюда!

Иван бросился вверх по лестнице и всунул голову в тесную комнату, которую заполнили уже трое. Николай кивнул ему с многозначительным мрачным торжеством.

— Нашли!

У стены, привалившись спиной, сидел мертвец. Голова его повисла на грудь, на шее была затянута верёвка, закреплённая под потолком. Лицо было изранено, на месте глаза запеклась кровавая рана. Руки оказались связаны за спиной. Ноги прикрыты шубой. Из-под неё высывались две ступни в чёрных ботинках.

— Это не самоубийство! — воскликнул Николай.

— Ясное дело, со связанными-то руками кто ж вешается, — рассудительно заметил очнувшийся от первого шока урядник.

— Гапон, — изумлённо произнёс Иван, протискиваясь между ними. — Мы видели его вблизи. И живём. Это точно Гапон. Уже смердит.

— Иди вызывай группу, — приказал пристав уряднику, зажимая нос.

Впрочем, помимо полиции, тут уже нужен был и врач: хозяйка, заглянувшая вслед за ними в комнату, опустила на пол в полуобморочном состоянии, держась за сердце.

Николай между тем привычным жестом достал блокнот и карандаш и принялся зарисовывать мёртвого Гапона: лицо синевато-серого цвета, вокруг глаз, рта и ушей пробилась плесень. Тёмные, почти чёрные волосы были всклочены и падали на лоб. На теле — рваная жилетка, рукава белой рубахи сильно изорваны, вставной галстук и запонки валялись на полу.

— Следователи понабегут — нас и близко к нему не подпустят, — пояснил он приставу, который недовольно зыркнул на него. — Мы здесь по заданию из газеты.

Поколебавшись, Иван сделал то же, выбрав другой ракурс.

— Ну, у вас и нервы, господа художники, — пробормотал пристав, спускаясь вниз.

...Часа через два-три безлюдную дачу было уже не узнать — так много понабилось в неё народа: полицейские, чиновники, журналисты. Знакомый фотограф из полицейского управления расчехлял свой аппарат, пока к нему не подошёл Иван и тоном, не требующим возражений, отодвинул его в сторону: «Кеша, дай мне. Я тебе таких профессиональных снимков сделаю! Да я тебе всё отдам!» Фотограф Кеша, часто заморгав, без возражений освободил место у аппарата, который Иван легко поднял на второй этаж, пристроился поудобнее, выбирая ракурс, и, направив объектив на Гапона, несколько раз бабахнул, то и дело озаря пространство вспышками. Потом вынес машину в большое помещение, где уже толпились причастные к расследованию важные персоны.

— Это кто? — спросил он Кешу, указывая явно на какого-то начальника с властным лицом и большими лихо закрученными усами.

— Это? Это глава Охранного отделения. Герасимов Александр Васильевич. Только он не разрешает себя фотографировать.

К ним подошёл Кравченко и зашептал Ивану на ухо, указывая то на одного человека, то на другого, так что Иван только и успевал направлять на них объектив и ослеплять вспышкой:

— Вон — сам прокурор Трегубов; а это, рядом с ним, следователь, мы его уже видели в Колпино, помнишь? Николай Васильевич, кажется. Остальных не знаю, но ты фотографируй, фотографируй. Потом всё выясним. Вон те, в тёмных пальто, наверное, понятые. Хотя понятые — это как раз мы, получается. А вон, видишь того господина в пенсне? Сфотографируй его: это присяжный поверенный и адвокат Гапона Марголин. Писали, что именно ему анонимы прислали вещи повешенного.

Гапона уже вынули из петли и положили на длинный стол, стоявший вдоль окна.

Герасимов с отвращением взглянул на труп:

— Да, это Гапон.

Марголин пробурчал, отворачиваясь:

— Это он.

Эксперт Мищенко начал диктовать подробности для протокола, а бойкий молодой человек в золотых очках пристроился у подоконника и принялся записывать чернильным карандашом: «Обнаружен труп мужчины. Труп начал уже разлагаться, однако, из-за пребывания в нетопленном помещении, не столь быстро: холод в доме задержал разложение. Мужчина смуглый, тёмноволосый, с эспаньолкой, в чёрном пиджаке, коричневой жилетке, белой сорочке...»

Герасимов прогундосил, зажимая нос:

— Надо же, и дача такая для нас приметная. В прошлом году, если вы помните, Николай Васильевич, брали здесь подпольную типографию. Из неё ещё подземный ход вёл во-о-он в тот лесок. — Он показал пальцем.

Николай Васильевич кивнул, приглашая послушать молодого человека в золотых очках, и что-то шепнул ему.

Эксперт продолжал:

— На шее петля из толстой бельевой верёвки, привязанной к железной вешалке под потолком, на ноги наброшено пальто с меховым воротником, на полу — шапка, галстук, калоши. На теле — множественные синяки и ссадины. После детального осмотра можно будет сообщить об этом подробнее. Видно, перед смертью его били и пытали. Кончина была мучительной.

Наконец, со второго этажа спустились и прокурор, и Герасимов, и Николай Васильевич, и тот молодой человек с бумагой и чернильным карандашом. Все они встали возле полицейского, рывшегося в камине.

— Следы сожжённых бумаг, есть обгорелые фрагменты, возможно, каких-то документов, — громко и внятно произнёс он. — В банке — окурки. Курили папиросы «Кадо». По всей видимости, остались от трёх-четырёх человек. На столе — расстеленный номер газеты «XX век» от 27 марта сего года, а на газете — большой ситный хлеб, около двух фунтов. А в карманах... сейчас, сейчас... — Он залез в пиджак, снятый с тела, пытаясь там что-либо нашарить. — В карманах — железнодорожный билет Финляндской ж/д — туда и обратно — от 28 марта и визитная карточка...

Сергей Пагын

И опять начинается речь

* * *

Я вышел в снег, оставив на столе
свечу и хлеб, и наш семейный снимок...
И мир был нов, точней — летуч и зыбок,
и память гасла в сумасшедшей мгле.

И я был нов...
И шум прошедших лет
глушило снегом в этой круговерти,
и так хотелось говорить о смерти,
но я сегодня говорю про свет.

* * *

Если долго сидеть у окна,
можно с ним потихоньку сродниться,
стать прозрачным...
И будет зима
сквозь тебя всё смотреть и дивиться

раскалённой печурке в углу,
молоку и домашнему хлебу,
прислонившись к живому стеклу,
словно лбом, примороженным небом.

Пагын Сергей Анатольевич — поэт, филолог. Родился в 1969 году в г.Единцы (Молдавия), где живёт и сейчас. Выпускник педагогического института. Автор шести книг стихотворений, среди них «Просто жизнь» (2017) и «Спасительный каштан» (2022). Лауреат премии журнала «Дружба Народов» (2022), Русской премии (2024) и др. Постоянный автор «ДН».

Яблоко на ветке

Опушённый инеем зрачок,
воздуха живая роговица.
Что ты видишь, яблоня?
Молчок.
Мне потом, наверное, приснится:

зимний ветер, полуспящий сад,
я, с охапкой хвороста стоящий,
и вот этот, из иного, взгляд,
яблочную косточку таящий.

* * *

— Видишь — лев и прекрасная дева,
за окном они светятся слева, —
говорит мне безумный сосед.
Я киваю, хотя только вижу
облетевшую вишню и крышу,
и безличный скудеющий свет.

Вижу только ноябрь опустелый.
И ни льва золотого, ни девы,
чьё лицо — словно пламя свечи...
Не свихнулся ещё, да и ладно.
Мне хватает бездонности сада
и смиренного жара в печи.

* * *

Я говорить пытаюсь всё ясней...
Но если, смолкнув, заглянуть в начало,
то сколько было жизней и смертей,
чтоб речь моя сегодня прозвучала.

И сколько было отчей тишины
и шума в кроне древа родового,
чтоб смутные наития и сны
прозрачней стали, обратившись в слово.

Я говорю, смотря на зимний сад,
в движенье веток различая лица.
И мёртвые со мною говорят
травой под снегом,
горлицей,
синицей.

* * *

Из шуршащего света
кукурузного поля,
закурив сигарету,
он выходит на волю,

кепку сняв и пригладив
рыжеватые космы.
Из времён стародавних
он ступил в гулкий космос

так легко, без обузы,
как во сне — ненатурно.
И мешок с кукурузой
ему больше не нужен.

Он идёт в отрешенье,
и вот-вот улыбнётся —
словно принял решение
и уже не вернётся.

* * *

Ветер тянет песню высоты.
И деревья открывают рты,
и поют в предчувствии иного...

Вместе с плотью улетает страх.
Человек — не пепел и не прах,
на ветру пылающее слово.

Из снов

Вербный куст, из зеркала растущий,
комья глины на постели белой,
я, по снегу за отцом бегущий
через двор в посмертные пределы.

Вот он — в шапке и пальтишке куцем
за столом среди глухого сада.
Тихо просит он меня вернуться:
— Уходи, тебе сюда не надо...

Я иду, и он не окликает,
я лечу с какой-то страшной кручи.

В дом вхожу — и зеркало сияет,
пряча ветви в глубине беззвучной.

* * *

Л. Б.

Это жизни сквозняк продувает меня.
Я — как дверь посреди потускневшего дня,
посреди опустевшего поля.
Прошмыгнула синица, солома летит...
И предчувствием чуда так остро сквозит
и так сладко, что даже без боли.

* * *

Стали птицами скорбные свечи,
улетели в далёкие сны.
И теперь — угасание речи
и широкий наплыв тишины.

Но и в ней затаились до срока
вьюги шум и ночная гроза.
В тишину залетает сорока,
обживает её стрекоза,
прорастает в ней яблони семя,
и ручей принимается течь...

Возникают пространство и время,
и опять начинается речь.

Игорь Воеводин

Раскопки

Рассказ

Наша экспедиционная «Нива-Шевроле» стоит на бревенчатом мосту без перил перед шлагбаумом из ржавых труб. Рядом в раздумьях замер Андрей Владимирович.

Я сижу в салоне. На консоли вверху приклеена фотография писателя Солженицына. На цепочке сверху свисает фигурка мальчика Нильса, оседлавшего белого гуся.

«В болотах Тверской области пропали двое чёрных копателей из Москвы. Как отмечают спасатели, они могли стать жертвами... Ежегодно в конце весны приезжают сотни кладоискателей, занимающихся нелегальным поиском артефактов без официального разрешения. И о погоде...» — раздаётся через помехи голос радиоведущей.

— Александрович, выключите шарманку и тащите саквояж, — командует Андрей.

Прихватив сумку с инструментами, выхожу из машины.

Под мостом бурлит и несёт воды река. По обе стороны реки раскинулся густой лес.

— Может, вернёмся? Ещё не поздно, — говорю я.

Андрей достаёт из сумки набор отмычек и, перебирая одну за другой, выуживает нужную и ловко открывает ржавый замок, перекладина шлагбаума уходит в сторону, точно приглашая нас.

Андрей встаёт в позу римского оратора, придерживая воображаемый хитон, накинутый на левую руку, а правую руку с отмычкой поднимает вверх и восклицает:

— Жребий брошен.

Воеводин Игорь Александрович родился в 1973 году в Москве. До семи лет жил в г. Миловице, пригороде Праги. Окончил музыкальное училище им. С.С.Прокофьева, Московский государственный университет культуры и искусств, аспирантуру. Работал шеф-редактором, зам. директора департамента в издательствах «АСТ», «Эксмо», «Питер». Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Мы едем по пустынной сельской улице. Я чувствую себя покинутым, как эта единственная дорога.

Я смотрю на избы, вросшие в землю, покосившиеся и с заколоченными ставнями, с участками, заросшими бурьяном.

Раздаётся карканье вороны, но птицы не видно. Меня охватывает тоска.

— Завидев родные сердцу избушки, Пушкин выпрыгнул из кибитки и побежал, раскинув руки. «А как же саквояж, барин?» — кричал ему вслед кучер. «Ах, оставьте, оставьте!» — с волнением отвечал Пушкин. Старая няня Время закончила вязанье, и обитатели села стали называть село — «Астафьево», в память о поэте, — рассказывает Андрей.

— Оставь его... — повторяю я.

— Заляжем на дно в Астафьево и будем наблюдать, из печной трубы как пороховой дым развеивается, — говорит Андрей. — Смотрите, какая здесь тишь и благодать.

«Нива» останавливается возле избы с зелёной черепицей, над которой высится красная печная труба. Избу окружает низкий зелёный частокол. Нас приветствует лаем трёхногая овчарка.

Андрей выходит из «Нивы». Я остаюсь в машине, опустив наполовину окно.

С крыльца к нам спешит крепкого вида поджарый старик, он берёт собаку за ошейник, и та успокаивается.

— Владимирович. Много слышал о вас. Писатель. Эксперт по оккультизму. И вдобавок чёрный копатель, — говорит старик.

— Искатель артефактов. Я бы предпочёл называть себя так, — отвечает Андрей. — Вы, верно, Сергей? Как по отчеству?

— Просто Сергей. Приехали к нам на поиски сокровищ? — спрашивает Сергей.

— Да нет. Проезжая Петровское, увидел на столбе возле сельпо, где собираются местные синяки, выцветший от непогоды листок с объявлением: «Сдам квартиру свою у судьбы на краю». И купил не глядя. Хочется, знаете, тишины и покоя. Буду работать над автобиографией, — отвечает Андрей.

— А кто с вами в машине? — спрашивает старик.

— Это — Игорь Александрович, издатель из Москвы. Страшный человек. Но боится собак, — представляет меня Андрей.

Я выхожу из машины и протягиваю руку старику.

— Может, и мои мемуары издадите, — улыбается Сергей.

— Александрович, — отвечаю я.

Пёс прячется за спиной хозяина и издаёт короткое рычание, в нём мне слышится испуг и в то же время предупреждение.

— Николай, — Сергей показывает рукой на собаку без задней лапы.

— Что с ним? — спрашиваю я.

— Волки. — И оборачивается к дому: — А это Полина, моя красавица жена.

На крыльце появляется длинноногая женщина, в прошлом, вероятно, модель.

— Ходят слухи, что вы нашли библиотеку Ивана Грозного? — обращается Полина к Андрею.

— Ну что вы! Это — слухи. Да и сама библиотека — красивый миф. Пожары, смуты. Кремль множество раз горел. А бумага такой же хрупкий материал, как и человек... — опровергает Андрей.

— Но Милорадович... — вставляет слово старик.

— А... вот откуда у вас эти байки... Милорадович — известный аферист от археологии. Он и вправду хорош. Был хорош, — отвечает Андрей.

— Был? А что с ним приключилось? — спрашивает Полина.

— Идёт молва, что он всё-таки нашёл библиотеку Ивана Грозного, — говорит Сергей.

— Софьи Палеолог, точней. Впрочем, я не верю в эту историю, — отвечает Андрей.

— Говорят, что спекулянт антиквариатом был последним, кто видел Милорадовича в день, когда тот привёз ему на оценку одну книгу из найденной библиотеки. Спекулянт успел рассказать об их встрече, утверждает, что даже держал книгу в руках, — с увлечением рассказывает старик.

— Я тоже слышал эти сказки, — комментирует Андрей. — А что ещё говорят про меня? Прямо-таки не ожидал давать автографы в такой глухомани.

— Про вас немного... А вот про Милорадовича... поговаривают, после этой встречи следы всех свидетелей теряются. Милорадовича больше никто не видел. А спекулянт утонул вскоре при сплаве в одной из бурных северных рек.

— Байка вернулась в статус мифа, затянув с собой в воронку того, кто подобрался к ней ближе всех, — продолжает гнуть свою линию Андрей, слегка задетый.

— Может, Милорадович сорвал куш и залёг на дно? Я бы так и сделал, — замечает Сергей.

— Всё может быть... есть на этом свете вещи неподвластные нам, смертным, — вздыхает Андрей. — Мы когда-то были друзьями, но, как это бывает, разошлись наши пути.

— Получается, ты теперь номер один среди чёрных копателей? — произносит старик с уважением.

— Вряд ли в столь зыбком деле могут быть авторитеты, — говорит Андрей. — Да, впрочем... я давно повесил лопату на ржавый гвоздь и пишу мемуары в тиши кабинета... А я вижу, вы и сами не прочь пошурфить, коль следите за новостями?

— Я так, любитель, здоровья ради, а не прибыли для, — улыбается Сергей. — Но показал бы пару находок, вам, эксперту, может быть любопытно.

— Может быть... — отвечает Андрей.

— Как устройтесь, заглядывайте на обед, — приглашает Полина.

Глухой удар кулака по бревну.

— Дом этот ещё лет сто простоит, — звучит голос Андрея позади меня.

От неожиданного звука я вздрагиваю.

— Кря-а-а-а-а-а, — раздаётся с земли передо мной.

Шумно хлопая крыльями, испуганно взлетает из высокой травы белая утка, преодолевает накренившийся забор и летит к реке.

Представляю, что провалился сейчас в один из моих чёрно-белых снов. Грузный, я делаю попытку взлететь, взмахиваю крыльями снова и снова, поднимаюсь невысоко от земли, касаясь мысками туфель травы и кореньев, лечу вперёд, к водной глади, — со стороны наверняка это смотрится нелепо, словно невидимый грузчик тащит, взвалив на себя, обездвиженную и освежёванную тушу животного из бойни в рефрижератор, — я лечу к воде, несущей кувшинки, водяных пауков, опавшие листья, но пока ещё подо мною мелькают заросли камыша на берегу, тугие коричневые ёршики на стеблях хлещут по икрам, вот большой палец, виднеющийся в прорванной туфле на правой ноге, чуть стоптанной набок, касается воды, и белая утка, вспугнутая моим появлением, поднимается и летит вместе со мной на другой берег, может, и это — цель моего нелепого полёта, зачем бы я на него отважился наяву, когда и во сне полёт требует слишком много энергии и внимания; преодолевая реку, думаю о том, чтобы хватило сил не упасть, иначе утону, хотя и дно видно, но плавать я не умею, — вот и берег. Обессиленный, распластываюсь на прохладной мокрой земле, утка нерешительно делает несколько шагов ко мне, потом в сторону, но не улетает, чувствуя мою окончательную беспомощность.

— Улетела, — слышу голос, но не могу опознать, чей он.

— Возьмём одно? — предлагает Андрей.

Я вижу у ног гнездо, свитое из веток и травы, в нём в клочках белого пуха лежат восемь яиц.

— Не надо, — поворачиваю лицо к Андрею, стоящему возле бревенчатого дома.

— Подумал, не заметит, — говорит Андрей.

— Она вернётся.

Андрей обходит амбар и низкую пристройку, направляясь к залитой солнцем «Ниве» в яблоневом саду. Я иду следом, проводя рукой по шершавым доскам. Цепляю указательным пальцем занозу и отдёргиваю руку. На пальце набухает маленькая капля крови.

— А вы могли бы убить человека? — спрашиваю.

— На войне? — уточняет Андрей.

— И вне.

— А вы? — задаёт встречный вопрос Андрей.

Я стою в саду, состоящем из трёх рахитичных яблонь, растущих справа от избы и уходящих по прямой в низину, к реке.

На том берегу еле видно моё тело, раскинувшееся на песке. «Надо бы вернуть», — думаю я. Но чувствую себя совсем лишённым сил. «Теперь только во сне, где законы притяжения чуть подвластнее режиссёру», — вертится странная мысль.

— Надо спросить у тела, — отвечаю я Андрею, показывая лёгким движением головы на того меня, который пытается рассмотреть нас с противоположного берега.

Я полагаю логичным свой ответ.

Андрей смотрит на одиноко плывущую против течения белую утку.

— Опять читали Достоевского на сон грядущий? — с укоризной и ласково спрашивает Андрей.

— «Братья Карамазовы», — отвечаю я.

— Час от часу не легче. Не бережёте вы себя, — вздыхает Владимирович. — Ведь даже детям известно, что издатели не читают рукописи. Не может здоровый человек вместить в себя всё, что понаписали писатели.

Андрей заглядывает в окно избы, обрамлённое красивыми в прошлом наличниками в северном стиле, с резной жар-птицей. Поднимается на крыльцо и исчезает в избе. В окне зажигается электрический свет, ставни распахиваются.

— Александрович! — зовёт меня друг.

Я бросаю взгляд на реку и спешу к Андрею.

Он протягивает мне из окна топор топорщиком вперёд.

— Смотрите, какой острый! Плотницкий. Подбросить лист бумаги — располовинит враз. В русской печи лежал с брежневской эпохи. Там ещё что-то есть в глубине, ящик, потом достану, только кочергу отыскать бы. При входе печка поменьше, растопим к ночи. Зайдёте в дом?

— Нет, как-то мне не по себе. Веет от этого среднерусской тоской и неприкаянностью.

— А что вы хотели? Одичал... Тридцать с лишним лет без хозяина, — произносит Андрей.

— Зачем мы здесь? — спрашиваю.

— На Земле? Не знаю, — как бы шутит Андрей.

— В Астафьево, — уточняю.

Но теперь уже не уверен, что хотел спросить именно об этом.

Андрей выходит, и мы располагаемся за раскладным столиком под яблоней. Чайник на горелке, подключённой к газовому баллончику, свистит. Андрей деловито мелет кофейные зёрна в ручной мельнице. Мне нравится смотреть, как ладно проворачивается ручка мельницы. Аромат кофе распространяется по саду. Андрей заваривает размолотый кофе в металлических кружках.

Я наслаждаюсь кофе, он придаёт мне сил. Андрей надувает щёки и выдыхает воздух в кружку, протягивает мне раскрытую плитку горького шоколада.

— Отдохнём немного и съездим на разведку, — говорит Андрей.

— За библиотекой Ивана Грозного?

— Библиотекой Ленина! — отвечает Андрей.

— Что? — удивляюсь я.

— Эти сказки аисты своим несмышлёным аистяткам рассказывают. Какая библиотека? Спустя столько столетий? Тем более в местных болотах, — говорит Андрей.

— Тогда зачем же мы здесь? Что вы раскопали в архивах? Вряд ли вы стали бы покупать дом в этом покинутом Астафьево без веской причины, — произношу я.

— Есть одна книга... — перебивает меня Андрей. — Она могла сохраниться.

— Но как вы об этом узнали? — удивляюсь.

— Нашептала мне на ушко одна ведьма, — то ли в шутку, то ли всерьёз отвечает мой друг. — Она была раньше весьма любвеобильна, а теперь — ведьма. И имеет свой кабинет и Телеграм на миллион подписчиков. Сильные мира сего приходят к ней за советом. И видела она книгу, по её словам. Так же явственно, как я вижу вас, уничтожающего последние запасы походного шоколада, — говорит Андрей.

— Какая же это книга? — спрашиваю я, возвращая остатки плитки.

— Иван Грозный, вероятно, взял её в поход, когда отправился в один из северных монастырей. Есть свидетельства, что с ним была походная библиотека. Так ли это? Мы узнаем, если будем живы. Охотников — легион. Предприятие опасное. Одна из списка Тофлера — это целое состояние. Представьте полный текст «Жизни двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла. Единственный и считавшийся утраченным, начиная с шестнадцатого века. Вы как издатель можете это оценить, — рассказывает Андрей.

— Я в деле, — отвечаю невнятно, пережёвывая квадратики шоколада.

— Для начала нам нужны деньги. Много денег, чтобы продолжить изыскания, — объясняет Андрей.

— Что же делать?

— Здесь недалеко, в лесу, есть одно загадочное село, — сбавляет громкость голоса Андрей. — Оно вымерло ещё до революции. По картам со спутника видны развалины.

Он достаёт из нагрудного кармана отсканированную карту и разворачивает на столе.

— Что же там искать? Всё выбили копатели? — смотрю я на палец Андрея, остановившийся на карте там, за рекой.

— Может, и так. Но мой расчёт: не тронули. Не смогли. Слишком глубоко. Нужны профессиональные металлоискатели, а не каждый может их себе позволить, как вы понимаете. И они у нас есть сегодня в арсенале. В Астафьево ведёт только одна дорога. Через две реки, второй мост закрыт на шлагбаум. В Астафьево никого нет. Только Сергей с женой и собакой приезжают по весне — с ними вы уже познакомились. Да бабушка божий одуванчик выбирается летом — в доме напротив, там, видите, ставни заколочены? И всё. А кругом одни болота, — объясняет Андрей.

— И в село Серебряное путь только через Астафьево? — уточняю я.

— Да, раньше была ещё одна дорога, но болото наступало и поглотило её, там не проехать, я пытался и застрял. Еле выбрался. Пришлось вызывать спасателей, — отвечает Андрей.

— Значит, пошурфим здесь золотишка, и в погоню за библиотекой? Мне по душе ваш план, — говорю я.

— Будем надеяться, что фортуна на той же солнечной стороне улицы, где и мы, — кивает Андрей. — Мы больше не будем униженно просить, а решительно возьмём своё, — и бьёт кулаком по столу.

Топор подскакивает.

— Чего бы это нам ни стоило. Страданий и даже смерти, — поддерживаю я.

— Вот это — лишнее, — возражает Андрей. — Что вы купите, если найдём «Жизнь двенадцати цезарей»?

— Домик в Копенгагене, очень по душе датский сплин. Буду навещать русалку на набережной. А вы?

— Ферму в Подмоскowie. Займусь выращиванием карпов, — произносит Андрей.

— Карпов? — спрашиваю я, понимая, что Андрей хочет чего-то другого, но, возможно, и сам ещё не осознал чего.

— Вам полезна средиземноморская диета, — отвечает Андрей.

— Владимирович... давно хотел предложить вам делить находки пятьдесят на пятьдесят. В каждой поездке, начиная с сегодняшней, — набираюсь решимости я.

— Замётано, — на моё удивление Андрей сразу соглашается. — При одном условии...

— Каком?

— За новый мой роман я хотел бы получить один американский доллар с каждого экземпляра как первого, так и последующих тиражей. Напечатанного тиража, замечу, не проданного. И стопроцентный аванс, равный роялти за первый тираж. С выплатой в течение трёх дней после того, как я отправлю вам рукопись. Что скажете? — быстро формулирует Андрей.

Он видит в моих глазах появившиеся цифры, как в игральном автомате в казино.

— По рукам, — подтверждаю я после мимолётных расчётов.

Мы скрепляем договор рукопожатием.

Я чувствую, что хорошо бы вздремнуть полчаса и вернуть во сне своё лишнее тело, одиноко бродящее по противоположному берегу реки. Перекатываю носком правой туфли камешек под столом — туда и обратно, язык упирается в шатающийся зуб. Я чувствую, что всё вокруг приобретает неустойчивость.

Андрей подходит к открытой калитке и делает жёлтого в угол. Я присоединяюсь. По улице Ленина журчит ручеёк.

— Я — дальше, — раздаётся голос друга.

— Ветер подул, не считается, — возражаю я.

— Вы же советский человек, побойтесь Бога. На дворе штиль.

— Вы подпрыгнули.

— Признайте поражение, упрямец.

— Предлагаю овертайм.

Пищат комары.

Пасторальное настроение нарушает шум моторов. По улице Ленина пронесётся колонна внедорожников. Я пытаюсь застегнуть заевший zipper походных штанов. Машины возвращаются — я насчитываю пять: УАЗ «Патриот», Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mitsubishi Pajero Sport и замыкающий колонну узик-буханку, который ещё можно встретить на просёлочных дорогах.

Владимир Салимон

Среди тростника и аира

* * *

Дед Мороз какой-то странный.
С виду — чистый дед Мазай.
На плечах — тулупчик драный.
На затылке — малахай.

Но ему детишки рады.
Словно зайцы, ребятня
пляшет, скачет, ждёт награды.
Хлопоча и гомоня.

В дверь звонят — пришли соседи.
Шубы, шапки их в снегу.
Как полярные медведи,
люди выглядят в пургу.

С Новым годом поздравляют.
Будто знают наперёд,
только тщательно скрывают
за улыбкой, что нас ждёт.

Салимон Владимир Иванович — поэт. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001), заместитель главного редактора журнала «Вестник Европы XXI век» (2001—2011). Написал и издал 28 книг стихов. Лауреат Европейской поэтической премии Римской академии (1995), Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Москве.

* * *

В креслах сидеть,
трубку курить —
этому впредь
больше не быть.

Барин идёт, направляясь к огню,
длинный мундштук волоча за собою,
словно коняшку, игрушку свою
серую в яблоко с гривой седую.

Мальчиком он в этом доме гостил.
В зрелости девок брюхатил.
Если б французик его не убил,
он бы здесь в старости спятил.

В карты продулся. Сидел на мели.
Пил, полагаю, не мало.
Вечно бубнил —
Как помру, Натали
выскочит за генерала.

* * *

Стихотворенье не про то,
как человек лежит в кровати,
не сняв ботинки и пальто —
при полном, так сказать, параде.

Идут дожди.
Гремит трамвай,
по тормозам ударив резко,
и на ветру, как юбки край,
взлетает в небо занавеска.

Но вместо ножек Мэрилин,
её прелестной круглой попки,
я вижу на окне кувшин
и роз склонённые головки.

Цветы поникли.
Жизнь прошла.
И общий вид усугубляет
кувшин из синего стекла,
букет в котором увядает.

Немаловажная деталь,
что он — ни красный, ни зелёный,
а синий, блестящий, как сталь,
клинок, в сраженьях закалённый.

* * *

Ухабы, рытвины клянёшь.
Вдруг вспомнишь слово *буераки*
и засмеёшься, и заржёшь
так, что жена отпрянет в страхе.

Противны женскому уму
столь нелогичные поступки —
чего хохочет? почему? —
обидится, надует губки.

А я от радости смеюсь,
найдя потерянное слово,
вцепившись намертво, боюсь
его забыть навеки снова.

Так в старой куртке пяточок,
что вышел из употребления,
найдёшь и плачешь, дурачок,
от нежности, от умиленья.

* * *

Спать пора.
Спокойной ночи! —
если некому сказать
за полночь, идя в кровать,
значит, ты несчастен очень.

Значит, ты на самом деле
в наш жестокий, подлый век
тоже вышел из Шинели,
никудышный человек.

Тот, что кончик одеяла
треплет, радуясь ночной
гостье серой из подвала —
мыши, как душе живой.

Спит ничком — в подушку носом,
или, глядя в потолок,
размышляет над вопросом —
почему он одинок.

* * *

В Рождество сижу у ёлки
без жены и без друзей,
наблюдая, как иголки
на пол сыплются с ветвей.

Хорошо в такую пору.
За окном — снега, мороз.
Только нет лошадки, в гору
тянущей поклажи воз.

Сидя за полдень в кровати —
жалок, бледен, нехорош —
я в своём ночном халате
на болящего похож.

Но не нужно, как больного,
вам, друзья, меня жалеть
и не надо звать Крамского,
чтоб меня запечатлеть.

Я сейчас надену тапки
и на кухню поплетусь,
где от ужина в остатке —
чёрствый хлеб и сладкий гусь.

* * *

Тянуть тяжело в одиночку,
и вот они тянут вдвоём —
цистерну — железную бочку
и восемь вагонов с углём.

Идут, запряжённые цугом,
как пара гнедых,
неспеша,
и перекликаясь друг с другом,
и от напряженья дрожа.

Два стареньких электровоза
на одноколейном пути —

казалось бы, горькая проза,
но стоит слегка поскрести,

поэзия выйдет наружу,
законное место займёт,
в твою загрубевшую душу
тропинку, лазейку найдёт.

И весело *на* сердце станет,
и станет легко на душе,
и то, что настигло — отпрянет,
врасплох не застанет уже.

* * *

Как живописца в уголке
картины подпись, в небе птица
вдруг возникает вдалеке,
скорей спеша с пейзажем слиться.

При бледных всполохах зарниц
она уже неотделима
от прочих действующий лиц —
огней вечерних, струйки дыма.

Спустя мгновение и ты
в прохладный сумрак погрузишься,
сам станешь частью красоты,
к которой тянешься, стремишься.

Сольёшься с вечным, сушим, тем
божественным, неуловимым,
тебе понятным не совсем,
став с ним единым, неделимым.

В каком-то смысле это — смерть.
А, может быть, преображенье.
В конце концов, как посмотреть.
Увидишь сам, имей терпенье.

* * *

Тот дремлет, а тот — ставит парус.
Взгляни, лягушачьи икринки,
как бисер,
как будто стеклярус,
неведомых тварей личинки.

И это гнилое болото?
Скажи мне, а чем оно хуже,
коль сравнивать будет охота,
кишащей кишмя нашей лужи?

Отчалив от берега, долго
мы меж камышами петляем —
должна же быть где-то дорога
на остров, что необитаем.

Где мы, удалившись от мира,
найдем и покой, и согласие
среди тростника и аира,
обрящем свободу и счастье.

* * *

В богатстве, в роскоши живу
и безо всякого обмана
своими сад и пруд зову.
Своей страну, как то ни странно.

Неважно, что принадлежат
мне лишь шесть соток у дороги,
попробуйте забрать назад
вид из окна моей берлоги.

Мою страну, мой сад, мой пруд!
Быть может, с чьей-то точки зренья
я вовсе не хозяин тут,
а арендатор помещенья.

Да, я здесь временный жилец,
как шмель в цветке на тонкой ножке,
в скворечнике седой скворец.
Как в час заката свет в окошке.

Анна Маркина

Там дальше теплее

Рассказы

Этот вагон не отапливается

Он спросил со стремянки:

— Это что?

И покрутил в воздухе деревянной шкатулкой с волчьей мордой на крышке. Крышка не открывалась.

Мы съехались только-только — скоропалительно и безрассудно; так съезжаются влюблённые и начинаются войны.

Теперь Рома пытался втиснуть свои книжные баулы в мои шкафы, а мои книги сопротивлялись, словно жители Козельска во время татаро-монгольского нашествия. В поисках приюта для Гаспарова, Гинзбург и трёхтомника Георгия Иванова, ничем не отличающегося от моего трёхтомника, Рома добрался до верхней полки хромого шкафа, куда ссылались отщепенцы моего канцелярско-книжного мира: плохо изданные сборники стихов знакомых с дарственными подписями, журналы с публикациями, старые тетрадки с конспектами, высохшие фломастеры, монетки из разных стран и облезлая классика советского разлива, привезённая ещё из родительской квартиры.

— Это Север, — сказала я и обхватила ладонями носок тапка, торчавшего с алюминиевой ступеньки.

— Север? — переспросил он.

— Мой бывший кот.

Разглядев его замешательство, я добавила:

— Он умер.

Маркина Анна Игоревна родилась в 1989 году в Москве. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Стихи, проза и критика печатались в «Волге», «Звезде», «Урале» и др. Автор трёх книг стихов, повести для детей «На кончике хвоста» и романа «Куколья» («ДН» № 12, 2023). Победитель премии «Лицей», им. Валентина Катаева, «Восхождение» Русского ПЕН-Центра, лауреат премии журнала «Дружба народов». Главный редактор литературного проекта «Формаслов». Живёт в Люберцах.

Рома смотрел на меня пристально. Теперь пристально смотрели двое — он и волк со шкатулки.

— Это прах кота?

— Угу, — промычала я.

Север был помесью ангоры и какого-то дворового доходяги; в нём всё было породистым — голубые глаза, белая пушистость, дружелюбие, — и только рыжее пятно на хвосте да общая тяга к мелкому бандитизму выдавали смешанное происхождение. Кота я завела на четвёртом курсе. Он жил со мной и моей соседкой Ви в институтской общаге. Там, конечно, нельзя держать животных. Но на нашем этаже расплодился целый подпольный зверинец. В комнате возле лифта пригрели огромного кролика, который перегрызал провода и всюду оставлял за собой весёлые коричневые шарики, аспирантка в конце коридора разводила морских свинок на продажу, а по соседству с нами жила бородастая агама, которая любила сидеть на руках. Правда, только наш кот день и ночь нёс караул возле двери и выпрыгивал из комнаты при любом удобном случае, так что мы носились за ним по этажам. Но нам всё сходило с рук. Ви встречалась с охранником, а охранник дружил с комендантом. Месяца через четыре, когда Север возмужал, а нам надоело бегать за ним, я сбагрила котёнка маме. К тому моменту похожая судьба постигла и кролика, и агаму — они все переехали к родителям своих безалаберных хозяев, и только морские свинки ещё держались, но и они постепенно куда-то пропали.

Рома стряхнул мои ладони и спустился. Его голос стал холодным, как зимний вечер за окном.

— Ты серьёзно? Ты хранишь останки кота рядом с кроватью?

Звучало так, будто я не просто храню урну с котом, а сама его и сожгла, причём живьём.

— И?

Я не понимала, зачем портить особенный день — день, когда мы съехались.

— Это очень странно.

Рома долго курил на балконе и смотрел на новостройки, покрытые темнотой и снегом.

Я обиделась.

Через час он пришёл на кухню. Уселся на табуретку и наблюдал, как я делаю фарш. Перекрикивая мясорубку, спросил:

— А почему он в коробке с волком?

Я пожала плечами.

— Ты не знаешь? — в его голосе проступила тяжесть, словно в него ссыпали мешок гравия, и слоги, как камешки, стучали друг о друга.

— Наверно, других не было; не помню.

— Давно он умер?

Я выключила мясорубку. Со временем у меня сложные отношения. Я была верна ему — никогда не опаздывала, не тратила чужое, но едва знала, в каком году закончила институт или школу и не помнила дней рождений даже тех друзей, с которыми мы их праздновали по десять раз. Всё смешивалось в какую-то тёплую, солёную массу, похожую на летнюю воду в море.

— Лет пять назад...

Рома опять закурил.

— Это ненормально.

Я сосредоточилась на фаршировке перцев, с которых срезала красные скальпы с зелёными хвостиками.

Он предложил примирительно:

— Давай вместе съездим похороним его?

— У тебя есть лопата?

Я знала, что у Ромы нет лопаты. Пока мы перевезли только кучу его книг, одежду, компьютер и кофемашину. В его квартире осталась майнинговая ферма, занимавшая всю лоджию, и полупустые шкафы. Он повесил wi-fi розетки и сокрушался в такси, что придётся расстаться с фермой и следить за ней на расстоянии. Разве у человека с майнинговой фермой может быть лопата?

— Купим, — ответил он.

— Я не хочу.

Я действительно не хотела, чтобы у меня в квартире стояла лопата, и не хотела ехать закапывать Севера в ледяную землю.

— Я здесь никогда не буду хозяином.

Он вернулся к своим книгам и моим шкафам.

Мы заснули, не сказав друг другу ни слова.

Утром Рома пил кофе и не отрываясь смотрел в окно. Там сыпался безразличный снег.

Я вспомнила, что было две недели назад.

Он читал вслух Фолкнера — один из тех йокнапатофских романов, до которого сложно добраться самостоятельно. Он читал мне его, потому что хотел поделиться чем-то важным. Я лежала рядом, уткнувшись носом в его плечо, он гладил меня по спине. Я видела, как скатываются слёзы из-под его очков. Так трогал его текст. Я стирала слёзы с его щёк, и мне самой хотелось плакать от любви и счастья. Казалось, что в жизни ничего не может быть лучше. Потом он захлопнул книгу и сказал: «Переезжай сюда». Но его однушку и так занимали ферма и шкафы с книгами — там не было места даже для моей одежды. К тому же я ненавидела до него добираться: после метро ещё сорок минут на электричке — по вечерам там толкались усталые люди. И я предложила: «Давай лучше ко мне». Моя квартира была больше, а жила я ближе к метро. Он ответил: «Ты меня всё равно выгонишь». Но я пропустила его слова мимо ушей, как ребёнок, увлечённый своими игрушками.

Спустя два вечера я опять ехала к нему — в холодном тёмном вагоне. Я ужасно замёрзла и хмуро смотрела на зимнее подмосковье из электрички. Мимо проходил парень в шапке-ушанке, он склонился над моим сиденьем.

— Этот вагон не отапливается, — сказал он.

Как будто можно было не заметить, что отопления и света нет.

— Я знаю, — сказала я.

— А зачем вы в нём едете? Там дальше теплее...

Мне не хотелось объяснять, что я еду в хвосте, потому что выход с платформы у меня в хвосте, что в тёплых вагонах больше людей, а я терпеть не могу забитые вагоны, а ещё — что мне просто не хотелось куда-то двигаться, и в понятной холодной темноте было по-своему спокойно.

Я не ответила, и парень ушёл.

Рома был в скверном настроении.

— А стол возьмём? — с порога спросил он.

Все эти дни он терзал меня звонками и сообщениями по поводу переезда. У него стоял большой круглый стол на кухне.

— Вряд ли он ко мне влезет, — я сняла пальто и засунула ледяные руки под тёплую воду, чтобы согреться.

Рома глядел на меня хмуро, привалившись плечом к дверному косяку.

— В семье должен быть круглый стол, — без надежды произнёс он.

Несколько дней мы все паковались: с балкона пробирался задорный морозный ветер, бодро трещал скотч и пахло бумажными коробками. Рома то, по-детски воодушевлённый, прибегал и спрашивал, нужно ли взять с собой ножи или кофемашину, то погружался в печаль и нерешительность. Как-то он написал, что посмотрел ролик на Ютубе, где блогер сказал, что мужчина не должен переезжать к женщине, и он, Рома, наверное, и вправду, не должен.

Я его успокоила. Ещё через пару дней мы погрузили в такси коробки и сумки, а потом Рома стал расставлять книги и нашёл Севера на верхней полке.

Он не объяснил, почему молчит. Только потребовал перфоратор и повесил на стену держатель для ножей.

Собираясь на работу, предложил поменять кастрюли:

— На твоих отбита эмаль.

Я сказала, что эти кастрюли дороги мне как память и выбрасывать я их не буду.

— Это вредно, — парировал он, — можно отравиться. Как ты можешь вообще из них есть?

Я пыталась объяснить. Но он недовольно ушёл на работу.

Раньше я жила в городе, который летом укрывался тополиным пухом и в котором ежегодно переукрашивали ДК. В выходные я ходила за покупками на шумный рынок, болтала с соседями, которые помнили, как я росла, ездила на велосипеде купаться на речку, а по будням спешила на работу вместе с людьми, которые набивались в вагон, как мокрые селёдки. Так было после института. Я жила с мамой и Севером. Совсем недолго. Потом мама заболела. Ей поставили диагноз: мультифокальная глиобластома. Стоило открыть любой форум, чтобы понять, что глиобластома и жизнь не совместимы. В Бурденко сделали операцию и удалили из мозга часть опухоли. Но другие очаги удалить было нельзя. Мама истончилась и ходила с тросточкой в белых высоких больничных чулках. Спустя время ей назначили семь курсов химеотерапии. Это было не как в фильмах. Не надо было ездить в больницу на особые процедуры и давно уже изобрели противорвотное. Надо было просто принимать таблетки дома. Их должен был бесплатно выписывать городской онколог, но место онколога

занимала двухсоткилограммовая тётка; к ней собиралась многочасовая очередь с пяти утра, но она всё равно не могла ничего выписать, потому что лекарства были разворованы. Раньше мама работала на хорошей работе, и лекарства вместе с водителем нам стал присылать её начальник. Иногда этот водитель нас возил в больницу, в монастырь или к гомеопату. Однажды мама уже не смогла подняться обратно в квартиру. И водитель еле-еле, с долгими передышками на лестничных клетках, затащил её на руках на четвёртый этаж. Лифта у нас не было. Больше мы водителя не видели. Ещё у мамы началась депрессия из-за опухоли и приступы эпилепсии, а препараты надо было давать по часам. Я уже не только не ездила на работу, но вообще мало куда ходила. Только по магазинам или прогуляться по городу. А когда по важным делам удавалось выбраться в Москву, мне потом ужасно не хотелось возвращаться домой. Я стала ненавидеть подмосковные электрички. Хотелось жить прежней юной жизнью, которая развеялась, как бархатная южная ночь. Из-за своей депрессии мама вела себя странно, например, очень сердилась, если я покупала в магазине восемь помидоров, а не четыре. Скоро она уже не могла встать с постели, путала Бирана и «Билайн» и почти перестала разговаривать. Тогда Север, всегда спавший у неё в ногах, стал приходиться спать ко мне. Я обрабатывала пролежни и стирала простыни. Пролежни не заживали. Иногда вечером ко мне приходил парень. Мы познакомились в приложении. В тот момент я уже не знала, понимает ли мама, что происходит, и слышит ли она нас из-за закрытой двери. Но как-то утром она спросила: «Это были его родители?». «Чьи?» — не поняла я. «Твоего парня», — ответила мама. Конечно, никакие родители к нам не приходили. Потом парень уехал по работе в другую страну, редко звонил и вернулся чужим человеком. Мама совсем перестала говорить и только лежала с согнутыми руками и ногами, как засохший кузнечик. Я вызвала участкового врача, чтобы спросить, что делать, но та в ужасе убежала, ничего не посоветовав. Потом мама умерла. Ко мне приехали друзья выбрасывать мамин диван. Стояла щетинистая зима, и мы докатили диван до помойки по раскорябанному льду. Вскоре я продала квартиру и купила новую поменьше и поближе к Москве. Я любила её. После подписания договора я вошла в неё утром со стаканчиком дешёвого кофе из ларька, побродила по пустым комнатам и долго смотрела в высокие окна с балкона. Там, передо мной, лежал новый город, погружённый в летнее цветение, и новая жизнь. Жизнь, в которой, наконец, была не только смерть. Я привезла с собой все остатки детства: выросшего Севера, родительские книги и кастрюли, картины и фотоальбомы, даже старые фломастеры, бог знает зачем.

В метро я плакала. Я уже чувствовала, что в огромном яблоке моей надежды, ползает большой червяк и оставляет после себя пустоту и грязь. На улице я тоже плакала. Мой ученик, плохослышащий мальчик с кохлеарным имплантом в ухе, писал «матиматика» и «рассположиться».

Дома мы с Ромой говорили весь вечер. Этот разговор был как стрекочущий поезд, который увозит мысли куда-то к тёплому побережью и за которым ты наблюдаешь с обледелого московского перрона. Рома сказал, что ему «здесь

Елена Козлова

Бумага

Литературный триптих

I

У Марины Викторовны упал лоб. Она пыталась приподнять брови, натягивала кожу пальцами, корчила гримасы, но всё тщетно. Лоб лежал. Марина Викторовна махнула зеркалу рукой, надела алый пиджак и отправилась на службу. Она была главным редактором последнего в мире печатного журнала. О красоте и здоровье. Сама Марина Викторовна так не думала. Она полагала, что её женский печатный орган — «новое слово в современной российской журналистке».

— У меня лоб упал, — сообщила она на редколлегии. — Всё хваленые отечественные препараты... Как на место теперь его ставить?

Обозреватель Оксана посмотрела на главреда с недоумением — она предпочитала стареть естественно. Эмпатичная продюсер Жанна — с сочувствием. Я, пошевелив своим, — с пониманием.

— Ботулотоксин — яд, вызывающий паралич, — заметила Оксана. — Главное, чтобы он из лба в кровоток не попал, иначе у вас всё упадёт.

Оксана, по её же собственному диагнозу, была ипохондриком. Она смотрела на мир сквозь толстые разнокалиберные линзы очков (минус шесть плюс астигматизм). За глаза мы называли Оксану — Я Болею.

— Марина Викторовна, на чёрном рынке можно купить зарубежные аналоги. Я сама себе лоб теперь колю, — поделилась опытом Жанна.

Медицинский редактор Евгения поцокала языком: она считала, что на всё есть профессионалы. Студентка журфака Кристина равнодушно пожалала изящными плечами — лбы были вне зоны её интересов.

Елена Козлова — писатель, журналист, редактор. Родилась в Москве в 1982 году. Окончила Московский государственный университет печати. Автор книг «Всё хорошо, мам» (Городец, 2022), «Цифры» (Freedom Letters, 2023).

В переговорную, сверкая оранжевыми носками, зашёл директор по рекламе Йонас Калининас, изгнанный с родины литовец, эстет и гурман. Чтобы носки было лучше видно, он немного подвернул брюки.

— Йонас, — вцепилась в литовца Марина Викторовна, — что у нас с обложкой? Дедлайн! Выносы! Латинский шрифт смотрится лучше русского! Типография! Кого в итоге ставим?

Когда Марина Викторовна включалась в рабочий процесс, её речь напоминала лозунги.

— Так решили же Рыбина. Пиарщица уже прислала даты, когда он готов сниматься...

— А как же клиника? Пластический хирург? Вы что, так и не продали им обложку?

— Да, — ответил Йонас.

Осмысливая Йонасовское «да», Марина Викторовна пыталась хмурить лоб, но он не работал.

— Рыбин ваш — без пяти минут иноагент. Непатриотичные посты пишет. Ругает сыр российских фермеров. Вы соображаете, Йонас, что с нами будет, если мы его поставим на обложку? Что будет с Максимом Леонидовичем?

И Марина Викторовна чиркнула над лацканом пиджака пальцами, как скальпелем. Медик по образованию, она успела поработать хирургом в областной больнице Омска. Затем перебралась в столицу, где вышла замуж за фармацевтического магната, который и подарил ей на юбилей разорившийся после начала войны модный журнал. Марина Викторовна посмотрела «Дьявол носит Prada», купила дюжину ярких пиджаков, сделала длинное каре, нос, виниры и одну большую ошибку: взяла Йонаса продавать в журнал рекламу.

— Когда я делал сыр, его хвалили. — Раскачивающийся до этого момента в центре переговорной долговязый литовец, наконец, уселся на стул. — Там же очень важна технология. Когда ты сырную массу разливаешь по тарам...

— Йонас, опять вы про сыр... — закатила глаза Марина Викторовна. — Мне нужен герой.

Директор по рекламе насупился. В Каунасе у него была своя сыроварня. Бизнес оказался убыточным, но в любой сомнительной ситуации Йонас заговаривал о сыре. Его это успокаивало, редакцию умиляло, а Марину Викторовну бесило.

— Давайте поставим певицу Грушу, она, правда, сломала ногу... — предложила Оксана.

— Сколько ей лет?

— Уууу, за сорок.

— Муж, дети есть?

— Кажется, нет.

— Не подходит. Мы должны транслировать здоровые семейные ценности. Или вы забыли? Мы не ставим на обложку незамужних, бездетных, соержанок, феминисток, психических, геев... У нас что, нет нормального героя?

Редакция задумалась.

— Может, Сергея Стального? Положительный актёр. В антироссийских постах не замечен. Женат, двое детей, — подключилась к обсуждению Жанна.

— Стальнов слишком красив. Красивый русский мужчина вызывает определённые подозрения... — Марина Викторовна сцепила пальцы за своим длинным каре и откинулась на спинку кресла. — Нет ли кого-нибудь пострашнее?

— Дмитрий этот, как его... Хлебников! — вспомнила я. — Такой пухляш, просто душка. Жена, детки, в ситкомках снимается...

— Нет, не то. Мы топим за ЗОЖ. А он толстый. Это не здорово. Нужен кто-то не слишком красивый, но и не толстый. О, давайте Милошко. Впрочем, нет, у него украинская фамилия...

— Дерюгина? — подала голос медицинский редактор Евгения. Она трудилась в издании с момента его основания, важно приезжала только на редколлегии и успела разобраться во вкусах Марины Викторовны.

— Вот он подойдёт, да. Крепкий брак, жена одна на всю жизнь. Причём ровесница, а не какая-нибудь молодая шлюха... Детей разве что маловато — двое. Нам бы многодетного героя. Год семьи всё же...

Оксана язвительно внесла ремарку, что Дерюгин ко всем прочим достижениям — алкоголик.

— Ну и что? Русский мужчина что, не может выпить? Нам нужно сохранять традиции, понимаете? Без традиций наша страна ничто. Елена, возьмите его на себя. Уверена, с вашим опытом вы сделаете отличное интервью. У вас есть прямой контакт Дерюгина?

У меня, к сожалению, был.

— Вот и отлично. Расспросите его о том, как он проводит выходные в кругу семьи, какие творческие планы, ходил ли на выборы... Только без отсебятины, а то я вас знаю. Вопросы подготовьте и обязательно согласуйте со мной.

Марина Викторовна облегчённо выдохнула и взяла в руку, запястье которой было перетянута красной шерстяной нитью от сглаза, распечатанный план номера.

— Так, что у нас дальше? Рубрика «Обратная сторона». Что в неё идёт?

— Анальный секс, — напомнила я. — Автор прислала статью, но мне кажется, её надо переписать. Называется «Анальный секс: табу или новая реальность».

Все заржали.

— А что с ней не так?

— Задротская какая-то... Ну вот сами послушайте.

Я нашла в открытом ноуте текст и зачитала начало: «Сегодня многие считают анальный секс не отклонением, а пикантным интимным опытом. В современном мире любые сексуальные отношения воспринимаются нормально, если соблюдаются два условия: взаимное согласие и безопасность. Но так ли безопасен анальный секс? Давайте разобраться...»

— Какая основная мысль?

— Что анальный секс приводит к недержанию кала.

— А, по-твоему, статья про анальный секс должна быть разухабистой и весёлой, да? — спросила Оксана, которая не могла простить, что я как-то раскритиковала её материал о пользе бобровой струи.

Я предложила хотя бы поиграть с заголовком и переписать подводку.

— Материал довести до ума! Уберите, что любые сексуальные отношения считаются нормальными. А то мало ли... «Обратная сторона» — это ваша рубрика, Елена. Лицо. Ответственность! — рубленые фразы Марины Викторовны рассыпались по переговорной, как кирпичи.

Она поправила леопардовые очки на куцем носике (редакция поражалась, благодаря какому физическому закону они вообще держатся) и продолжила изучать план.

— Рубрика «Мода». Что носим этой весной? Тут написано — тренчи... Жанна, что у нас с тренчами?

— А тренчей нет, — развела руками продюсер.

— Как нет?

— Так бренды ушли...

— И что, у нас нет приличных русских брендов, которые шьют тренчи?

Жанна успокоила главреда, сказав, что бренды-то есть. Но они не могут прислать фотографии тренчей печатного качества «под обтравку», чтобы дизайнер сделала из них красивый коллаж. Марина Викторовна предложила купить эти чёртовы тренчи и сфотографировать их самим, но продюсер отвергла эту идею как небюджетную. Марина Викторовна сама ж велела экономить.

— О, у меня есть новый тренч! — вспомнила я. — Даже бирку не срезала, в шкафу висит. Российский производитель.

— Вот его и поставим. Будет у нас пусть один, но наш, отечественный. Он не бежевый, надеюсь?

— Бежевый.

— Плохо. Весна. Нужно что-то яркое. Может, в фотошопе обработать?

— Марина Викторовна! — взмолилась Жанна.

— Давайте тогда не тренчи... Ставьте бомберы. Только яркие. Зелёные там, розовые... Надо поднимать у читателя уровень эндорфинов.

Стеклопанель переговорной неслышно открылась. На пороге показалась эйчар Людмила, женщина с большими глазами-льдинами и аккуратным горбиком. Такой горбик называют вдовым, но не совсем понятно, как это относилось к Людмиле — она никогда не была замужем и одна воспитывала сорокалетнюю дочь. Людмила не любила, когда её называли эйчаром, и просила называть кадровиком. Речь её состояла в основном из фраз-действий.

— Там пришли, — сообщила Людмила.

— Кто? — недовольно спросила главред. — Можно говорить всё сразу и конкретно?

— Пришла новая сммщица. Надо посадить.

Марина Викторовна велела отправить сотрудника в опенспейс, напоить кофе и дать полистать свежие номера журнала. А после редколлегии рассказать ей про нашу концепцию, миссию, редакционную политику и про то, что мы должны транслировать в соцсетях.

— А что мы там должны транслировать? — уточнила я.

— Ах, придумайте что-нибудь. Эти сммщицы всё равно надолго не задерживаются. Здоровье. Семейные ценности. Традиции. Нормативы ГТО. Кстати, кто едет делать репортаж о том, как звёзды сдают нормативы?

Очки Марины Викторовны остановились на студентке журфака Кристине, которая всегда сидела на редколлегиях с лицом, выражающим презрение. Работа в журнале её не вдохновляла. Впрочем, подработка была ещё хуже — Кристина составляла карточки с описанием товаров для маркетплейса.

Заметив на себе леопардовый взгляд главреда, она замахала тонкими студенческими руками и заявила, что не ездит на подобные мероприятия, потому что «селебы её энергетически высасывают».

— Тогда едет Оксана, — заключила Марина Викторовна.

— У меня больная спина, я не могу прыгать за звёздами, — заныла обозреватель.

— Елена?

— У меня анальный секс. Мне надо сесть за текст.

Оксана заметила, что в нашей стране выражение «сесть за текст» сегодня обрело новое значение.

— Тогда пошлём сммщицу. — На этом главред завершила собрание: — Редколлегия окончена, всем спасибо. Кроме Йонаса.

— Это почему? — проснулся задремавший на стуле Йонас.

— А вы обложку не продали. Вот продадите — тогда и вам спасибо будет.

* * *

Перед тем, как ввести в курс дела нового сотрудника, я зашла на кухню выпить кофе. Возле кофемашины крупной рыбой кружила Людмила. В автомате закончилось молоко, отчего он недовольно шкворчал и разбрызгивал в пространство бежевые капли.

— Новая сммщица немая, — предупредила Людмила, наливая молоко в специальный отсек.

— В смысле?

— Не говорит. Проблемы со слухом и речью. Но читает по губам.

— Она работать-то сможет?

— Не знаю. Но я Марину Викторовну предупреждала. Она одобрила её кандидатуру. Сказала, что это современно и правильно — взять на работу инвалида.

Окна в редакции были открыты — экс-медик Марина Викторовна требовала регулярно проветривать помещения. Жалюзи трепыхались и гремели, как паруса яхты. Сотрудники прятались от холода за мониторами. За одним из столов, поглаживая глянцевые страницы, сидела новая сммщица. Она взяла жёлтый блок со стикерами, отделила один и вывела печатными буквами: «Полина. Говорите — я читаю по губам».

Я заговорила. Про семейные ценности. Здоровые традиции. Про то, что наша миссия — возродить российский глянец. Полина смотрела мне в рот

Владимир Тренин

Два рассказа

Отложенное дело в ветреный день

Утром в субботу Терехов поехал в строительный магазин. Надо было купить пару досок, поправить скамейку на отцовской могиле. Он долго откладывал, но сегодня проснулся с твёрдым намерением закрыть это дело, давно обещанное маме, которой, как и всем матерям на свете, хотелось, чтобы было «всё как у людей». Сам Терехов не любил этой формулировки. «Подумаешь, будет хуже, чем у других, и что? Небо не упадёт на землю». А скамейка, действительно, обветшала, её мастерил родной дядя Терехова, давно лежавший в земле на этом же участке, рядом с отцом. Скамья была сварена из стальных уголков, и заменить нужно только деревянное прогнившее сиденье.

— Сделаю, мам, не переживай, работы на час, — говорил матери Терехов на семейных торжествах.

Час этот он никак не мог выделить в своём графике несколько лет, всё тянул, находил причины, переносил, оттягивал — и сегодня, наконец, решился.

Выйдя из подъезда, он окунулся в туманный апрельский сумрак. Закинул в багажник ящик с инструментом. Выехал со двора. Несмотря на субботу, движение было оживлённое. «Суббота же, ладно я по делу, а эти-то куда едут?» — подумал Терехов. Скорее всего, так же считали другие люди, спешившие в автомобильном потоке по своим важным надобностям.

Снег почти сошёл, оголив чёрные газоны и тротуары, засыпанные толстым слоем накопившейся за зиму дровсы. Дорога покрылась тёмной шершавой жижей из талой воды, песка и гранитной крошки. Плохая видимость усугублялась грязью, летящей из-под колёс обгоняющих машин.

Судя по автомобильным гудкам и замедлению движения, что-то случилось впереди. Терехов в мутном свете фар, рассекающем влажную пелену, различил

Тренин Владимир Витальевич — прозаик, инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор книг «Пять ржавых кос», «Исцеление инженера Погодина» и «Ягодные Земли», вышедших в 2020 году; «Король шмелей» (М., 2023). Живёт в Петрозаводске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 7.

сгорбленный силуэт. Старая женщина брела по середине проезжей части, её качало то вправо, то влево, и машины, резко вильнув, объезжали странную фигуру, раздражённо сигналив. Ни один человек не подумал остановиться и помочь ей.

Терехов выругался, съехал к обочине. Выскочил на дорогу; замахав руками, тормознул поток и встал на пути у старухи с растрёпанными сальными, седыми волосам. Первое, на что он обратил внимание, — это огромные галоши на босу ногу и синеватые прозрачные щиколотки и голени, забрызганные грязью; покрытые измятой дряблой кожей, они выглядели как рахитичные стволы карельской берёзы. Из-под зелёной кофты грубой вязки торчал заношенный красный ситцевый халат в горошек. Терехов взял старуху за руку, ощутив хрупкую, словно рассыпающуюся ладошку, неприятную на ощупь, липкую и холодную. Открыв заднюю дверь, помог ей забраться в машину. Отвернувшись, вдохнул сырости, ещё раз громко выматерился и сел сам.

— Вы куда путь держите? — спросил он, уняв дрожь в теле.

— Домой иду, — ответила она спокойно.

— И где ваш дом?

— Заречный район. Тут недалеко.

— Заречный? Недалеко? Да это на другом конце города, и вообще, вам в обратном направлении надо было двигаться.

— А вы откуда знаете? — спросила она чуть удивлённо.

— Я там жил, учился до девятого класса.

Терехов повернулся к старухе, шлёпнул клавишу лампы на потолок. Только сейчас он почувствовал сильный запах мочи и чего-то едкого и словно подгнившего, с тоской подумал о химчистке сиденья, но сразу же отбросил гадкую мыслишку. «Она же человек, и ты будь им».

— Адрес помните?

— Конечно, — кивнула она и улыбнулась впалым беззубым ртом. На её бледном, истощённом сморщенном лице выделялись светлые глаза, при тусклом освещении сложно было понять, какого оттенка, но что-то такое в них его привлекло. И раздражение этой нелепой ситуацией, и вонюю тоже — куда-то испарилось. Он понял, что надо помочь, но объяснить своё внезапное расположение к визави не смог. «Обычно у старух мутные глаза, часто злые, а тут — как родник, прозрачные, добрые, доверчивые», — так позже рассказывал жене Терехов, восстанавливая картину произошедших за день событий.

— Значица, отвезу-ка я вас до дому, пешочком вы до вечера не дойдёте, — сказал он.

— Спасибо большое, дяденька, а как вас зовут?

— Дяденьку зовут Григорием, а вас? — улыбнулся странному обращению Терехов.

— Варвара, — ответила старуха.

— И живёт Варвара на улице?..

— На улице Радищева, дом пятнадцать.

— Знаем, бывали.

Терехов выключил свет в салоне и завёл двигатель.

Они ехали молча, и изредка он подглядывал за пассажиркой в зеркало заднего вида. Рассвело, поднявшийся ветер выдул туман из городских низин и дворов, выглянуло солнце. Старуха с любопытством смотрела по сторонам, когда они останавливались на перекрёстке, она следила за пешеходами, восхищённо рассматривала высокие дома, прижималась к стеклу, чтобы разглядеть верхние этажи. Ещё эта странная женщина очень внимательно смотрела на небо. Терехову казалась, что с ним едет не старуха на девятом десятке, а любопытная девочка. Через час он припарковал машину у пятнадцатого дома по улице Радищева. Шлагбаум перегораживал въезд на территорию нового жилого комплекса.

— Варвара батьковна, какой подъезд, говорите? Доведу вас до квартиры, так уж и быть, — сказал Терехов, помогая пассажирке выбраться из машины.

Старуха удивлённо оглянулась вокруг.

— Вы куда меня привезли? Это не мой дом.

— Как не ваш? Радищева, пятнадцать, других у меня нет для вас, — с досадой сказал Терехов, его начинала утомлять эта ситуация.

— Наш дом деревянный, двухэтажный, на четыре квартиры, а тут смотрите сколько... — Варвара закинула седую голову. — Дорога должна быть грунтовая, летом трава по пояс у забора, огород свой, а здесь что? Бетонные джунгли.

— Деревянный, говорите? Двухэтажный? Так, давайте в машину, а то замёрзнем. — Терехов догадался, в чём дело.

Сорок лет назад на этой улице действительно стояли деревянные бараки. Маленький Гриша даже был свидетелем, как один из домов сгорел, возможно, именно пятнадцатый, тогда он ещё не умел считать, знал наизусть только свой адрес. В памяти остался огонь до неба и огромные красные пожарные машины.

— Сколько вам лет? — Он включил печку и направил вентиляторы вглубь салона.

— Восемнадцать будет в июле, — спокойно ответила старуха.

— Понятно, а с кем живёте?

— С папой, мама давно умерла. Он хороший, добрый, работает в леспромхозе начальником участка. В этом году закончу школу и поеду учиться в Ленинград; папка, конечно, не хочет отпускать, но что поделать, я уже взрослая, решаю сама, буду поступать в Гидромет, хочу быть метеорологом, погоду предсказывать. Вы знаете, как это важно сейчас? Для авиации, мореходства. После учёбы уеду на Север, устроюсь на полярную станцию. Представляете, звёздное небо над головой, переливается, зеленеет аврора бореалис, и тишина, а на сотни километров только льды и белые медведи. Это же так романтично и интересно! Вы были на Севере?

— Был, — кивнул он, разглядывая капли на лобовом стекле, судорожно думая, как поступить правильно.

— А кем вы работаете?

— Инженером-геологом, — машинально ответил Терехов.

— Это же здорово! — Варвара продолжила свой рассказ: — Если повезёт, то и в Антарктический отряд попаду. Сейчас женщин берут, вы слышали о Марии Кленовой?

— Нет, к сожалению.

— Как, она же геолог, как и вы. Первая женщина в Антарктиде. Ну вы даёте, дядя Гриша. А знаете, как звучит южное полярное сияние на латыни?

— Аврора ав...стралис? — неуверенно предположил Терехов.

— Именно...

От восторженного рассказа советской школьницы начала шестидесятых о своих планах и мечтах на спине Терехова выступил холодный пот. «У старухи Гагарин в космос только что слетал. Классно!.. Целая жизнь впереди, долгая и счастливая, а мне-то что с ней делать?» Он погуглил в телефоне адрес ближайшего полицейского участка.

Обернулся к пассажирке:

— Найдём мы ваш дом, Варвара, как вашего папу зва... зовут?

— Николай Тимофеевичем, Майоровы мы, нас тут все знают.

— Варвара Николаевна — звучит очень красиво, а родились вы когда?

— Десятого июля сорок четвёртого года. Зачем вам мой день рождения?

— Да так, не обращайтесь внимания, не поверил, что вам только семнадцать, вы так здраво рассуждаете для столь юного возраста, про профессию будущую и аврору бореалис.

— Смешной вы, дядя Гриша...

Подъехав к участку, Терехов попросил Варвару Николаевну посидеть в машине. Объяснил ситуацию дежурному капитану с недовольным красным лицом.

Тот отмахнулся:

— Знаем мы эту Майорову сорок четвёртого года выпуска, достала она нас, на хрена вы вообще её подобрали?

— Как на хрена? Вы что? Она бы замёрзла, или бы под машину попала, — удивился Терехов.

— Ну попала бы и попала, вам-то что с этого, а всем только облегчение, — спокойно и честно сказал капитан.

Терехов побагровел, выпрямился от окошка застеклённой кондейки дежурного, спросил, срываясь на хрип, с трудом сдерживая себя, чтобы не закричать:

— То есть вы её себе не возьмёте?

— Слушайте, мужчина, везите её туда, откуда взяли.

— Вы что творите-то, стражи порядка, бляха-муха, она же человек!? — заорал Терехов.

На крик выскочили два пепса лет двадцати, ожидая команды скрутить дерзкого посетителя. Краснолицый капитан остановил их. Написал что-то на бумажке.

— Не кричите тут, у нас дел выше крыши, кроме как старух в деменции развозить по домам. Вот адрес её постоянного проживания. До свидания. Если что, ключ от квартиры у неё на шее, на верёвочке висит.

Оказывается, Варвара Николаевна Майорова жила в том же районе, что и Терехов. Он позвонил в домофон, в соседнюю квартиру, сказал, что подобрал пожилую женщину. Открыли не дослушав, видно, привыкли к походам Варвары. Жила она на восьмом этаже.

В квартире пахло — как будто здесь кто-то умер месяц назад и распухшее гниющее тело хранилось в диване.

Варвара скинула галоши, прошлёпала на кухню, крикнула:

— Проходите, Григорий, не стесняйтесь.

Слышно было, как она включила воду и поставила чайник.

Терехов снял ботинки, носки прилипали к полу. Квартира была двухкомнатной, с добротной, когда-то очень дорогой финской мебелью из соснового массива. По углам громоздились кучи грязных тряпок. Стены украшали монохромные фотографии жизнерадостных людей на фоне вздымающихся белых гор и ледовых обрывов. Похоже, Варвара Николаевна действительно исполнила свою мечту и стала полярным исследователем.

— Я пойду тогда? — спросил он, убедившись, что всё в порядке.

— Чаю не хотите?

— Нет, дома меня заждались.

— Спасибо, что нашли время доставить до базы полевого отряда, — сказала она.

После этих слов, ему показалось, попутчица действительно пришла в себя, немножко с безуминкой, но всё-таки вернулась в свой возраст. Он натянул обувь, пожал ей руку и вышел. Постоял немного на тёмной площадке, убедился, что Варвара Николаевна закрыла дверь за ним, и быстро сбежал вниз, не дожидаясь лифта.

Выйдя во двор, Терехов услышал странный звук над головой, посмотрел вверх и увидел, как открывается окно. Паутина ветхого тюля вырвалась наружу. Старуха забралась на подоконник и свесила пятки на улицу.

Он испугался, что сейчас она упадёт, рванулся было обратно в подъезд, но Варвара громко осадил его так, что оглянулись редкие прохожие:

— Стойте!

Она весело болтала босыми ногами, словно сидела не на восьмом этаже, а на деревенской завалинке.

Наклонившись вниз, помахала Терехову и крикнула:

— Всё хорошо, Григорий, не волнуйтесь, я так частенько делаю, привыкла к холоду. Хочется ветра. Мчитесь домой, попутного мистралья вам в паруса, а со мной будет всё хорошо.

Он прыгнул в машину и выехал со двора, стараясь побыстрее удалиться от её дома. Только через два квартала ему полегчало. Хотя на душе оставался тяжёлый горький комок, словно он был виноват в чём-то. Терехов корил себя, но не мог заставить руки повернуть руль обратно. «В понедельник заеду в соцслужбу, попрошу за Варвару Николаевну», — топорно успокаивал он совесть. «Хватит этой показной доброты. Я сделал всё, что мог», — твердил про себя Григорий Терехов, осознавая, что нельзя было старуху оставлять одну.

Ещё он думал, как сильно любит маму, жену и детей, и сестру тоже, несмотря на то, что иногда ругается с ней, и твёрдо решил завтра всё-таки отремонтировать скамейку на отцовской могиле.

* * *

Солнце скрылось за горизонтом, грядка перистых облаков *Cirrus spissatus* на западе окрасилась ярко-красным. «К усилению ветра», — подумала Варенька. Погодным приметам её научил отец. Несмотря на то, что она серьёзно готовилась к поступлению на метеоролога и прекрасно знала схему атмосферной циркуляции воздушных масс, генезис облаков, циклонов и антициклонов, особенности климата в разных широтах, перечень факторов, определяющих погоду в текущий момент в определённом месте, всё равно ей хотелось верить в папины приметы.

Она долго сидела на лавке у калитки и болтала ногами, ждала его, смотрела на дорогу. Из-за поворота показалась родная широкоплечая фигура. Мужчина в кепке и в рубахе с расстёгнутым воротом. Выцветшие рабочие штаны заправлены в кирзовые сапоги. Он держал в одной руке брезентовую куртку мастера леса, а в другой — букет полевых цветов для дочери. Заметив её, он широко улыбнулся и ускорил шаг.

— Папочка! — босая девушка в красном платье в горошек прыгнула на сырую от росы траву и побежала навстречу отцу.

От сильного удара упавшего в проталину на газоне тела сработали сигнализации ближайших автомобилей, звуковые вибрации зацепились за соседние авто, и через пару секунд весь двор, по кругу заставленный припаркованными машинами, наполнился пронзительным техногенным верещанием. Закричала женщина. Где-то заплакал ребёнок.

Окно на восьмом этаже опустело. Жёлтый от старости, ветхий тюль вылетел из осиротевшей квартиры и развивался на ветру. Казалось, сейчас его вот-вот порвёт в клочья. Кружевная старинная ткань раздулась от потока холодного воздуха и вдруг резко сникла, опустилась на наружную стену панельного типового дома, зацепившись за шершавый блок с вкраплениями дресвы из поблёскивающей слюды и белого кварца.

Утонувший поцелуй

«О наивное дитя бумажного века! Ты же заметил новенькие камеры под крышей вокзала? Видел же и всё равно взял пиво», — внутренний мой циничный критик отличался благоразумием, но, как правило, задним умом.

«Купил, и что? Ведь было вкусно, — оправдывался я про себя. — Хмельная прохладная горечь впиталась в каждую клеточку тела. Цитоплазма моих иссохших кирпичиков воскликнула: “Аве! Аве, светлому радостному нектару, воистину этот глоток стоил последствий!”»

Максим Гуреев

Мо-щи

Рассказ

Нажал кнопку звонка, и затарахтел зуммер, а медная, выкрашенная коричневой краской заглушка ожила тут же и завибрировала в руке, норовя оторваться от стены и повиснуть на свитых косицей проводах.

Позвонил ещё раз, а потом ещё раз нажал кнопку. В ожидании ответа пододвинул чемодан с мощами неизвестного святого как можно ближе к двери. Впрочем, поддался чемодан не сразу, сначала заскрежетал замками, зацепился углами за доски пола, впился в них намертво, но со второй попытки всё же сдвинулся и навалился на деревянный потрескавшийся плинтус.

Выбор везти эти самые мощи пал на Андрея Иродова.

Продев кожаный армейский ремень в ручку, он взвалил на спину фибровый короб, который тут же и воткнулся металлическими ребрами окантовки ему под лопатки.

Иродов охнул и сгорбился — ремень впился в плечо. Только теперь понял, почему все так уклонялись от этого послушания, находили возможность ретироваться под любым предлогом, приволакивая ступни, коченея конечностями, тут же сказывались недужными, начинали трястись и пускать слюни.

А он отказаться не мог, потому что не умел говорить, будучи немым. Кто станет разбирать его жесты, следить за мельтешением его пальцев, вслушиваться в полузвучное шуршание его? Да никто не будет, хотя бы потому, что никто не поймёт, что он там лопочет, убогий.

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссёр документального кино, снял более семидесяти лент. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Автор множества книг, в том числе «Сергей Довлатов. Остановка на местности» (2020), «Фаина Раневская. История, рассказанная в антракте» (2022), «Чудесный отец» (2022), «Андрей Битов» (Серия ЖЗЛ, 2023), «Даниил Хармс. Застрявший в небесах» (2023). Дважды лауреат премии «ДН». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в журнале — 2024, № 5.

Глухонемым Андрей Иродов стал в середине девяностых.

Хорошо запомнил тот осенний день, когда возвращался из школы и на остановке «Мебельная фабрика», буквально в двух шагах от дома, попал под обстрел.

А ведь даже и не понял сначала, что произошло, — какие-то разрозненные, ослепительные вспышки света и удары воздуха по барабанным перепонкам, пронзительные крики и визг тормозов, надрывный кашель и неразборчивая ругань, составленная из слов-хлопков, слов-выстрелов, слов-гильз, что забарабанили по асфальту, как по голове. Инстинктивно успел сделать только несколько шагов, абсолютно не понимая, куда его ведут этот ритм и ватные, словно бы и не его, ноги.

Это «слепая поступь» называется. Так ходят старики, которые уже не отличают день от ночи, свет от тьмы. Просто ходят, и на том спасибо.

А ещё на него нашёл рассеянный взгляд, когда в поле зрения почему-то попали кусты при дороге, деревянный покосившийся забор, перевёрнутая скамейка, уносящаяся в сторону мебельной фабрики машина, из которой, собственно, и стреляли, а ещё теплая густая жижа, льющаяся по лбу, стекающая с бровей на скулы и подбородок, капающая на колени и на землю, тоже попала в поле его зрения.

Сознание на мгновение помутилось, а когда вернулось, Андрей увидел себя лежащим на тротуаре, заглядывающие ему в лицо перевёрнутые испуганные физиономии, казалось, были сделаны из воска, потому как растягивались рукотворно-противоестественно, тарасили глаза свои и разевали рты, из коих вылетала слюна вперемешку со словами, разобрать которые он уже не мог.

Нет-нет, никакой боли он не чувствовал, вообще ничего не чувствовал, разве что ноги гудели и судорожно дёргались, словно по ним пропускали электрический ток.

И это уже потом, в больнице, после операции, он узнал, что шальная пуля попала ему в голову, и его чудом удалось спасти.

Ему просто повезло, и он сам не знал, почему так гордился тем, что у него в башке побывала настоящая пуля, точно такая, какая была изображена на плакате, который висел у них в классе по НВП.

В то время в городе и без того было неспокойно, а после этого случая многие так и вообще перестали появляться на открытых пространствах — улицах, площадях, — находя их небезопасными, простреливаемыми, всё более хоронились за деревьями и стенами домов, прикрывая голову ладонями, как будто бы это могло их спасти.

Глупцы.

Ветер шевелил волосы на головах глупцов.

Пальцы непроизвольно шевелились, а ладони ползали по лбу и макушке, затылку и глазам, забирали рот и тут же становились горячими от прерывистого дыхания.

По крайней мере, так это выглядело со стороны — то ещё зрелище, честно говоря!

В свою школу Иродов больше не вернулся.

Полтора года он провёл в больницах, а после выписки его определили в интернат для детей-инвалидов, что за городом в Заречном.

Первое время он даже мычать не мог...

Наверно, при желании Андрей мог бы отказаться переть этот чемодан с мощами неизвестного святого, но этого желания у него почему-то не возникло, он и сам не знал почему. Читал: «Вот тебе, раб Божий, Андрей, чемодан, дан он тебе по силам, неси его со смирением», — кажется, так было выведено шариковой ручкой на подоконнике, с которого чемодан соскальзывал вниз, как по ледяной горке, безжалостно полосовал хребет, соответственно, сдавливал дыхание, вспучивал шею так, что начинала кружиться голова.

Всё плыло перед глазами от этой муки, а губы замирали, словно в немой мольбе, словно от удивления и отчаяния одновременно, пересыхали-пересыхали совершенно, царапали друг друга, скреблись, как мыши, замурованные в подполье.

Однако устоял Андрей Иродов тогда.

Он крепко вцепился в латунную бляху с пятиконечной звездой, боясь, как бы она не выскользнула из рук. Не мог, конечно, ни на мгновение разжать пальцы, чтобы подышать на них холодным ветерком, дабы увидеть, как эта самая звезда впечаталась в ладонь, образовав на ней контррельеф — серп и молот, молот и серп.

— Хочешь, жни, а хочешь, куй, — хохотнул лопоухий Чаронда.

Завыл от боли Иродов, в смысле «чего-чего?», не сдержался и от обиды в том числе.

— Ничего, — сплюнул Чаронда, — глухая тетеря.

Едва переставляя ноги, Андрей побрёл по коридору.

А насельники интерната приоткрывали двери и наблюдали, как фибровая машина, позвякивая латунными замками, проплывает мимо их каморок, в которые порой набивалось по пять, а то и более человек.

Здесь, в духоте, окна открывать не разрешалось, спали вповалку на полу, но были и двухэтажные нары, которые скрипели под тяжестью наваленных на них тел, трещали, когда эти тела на счёт «раз» переворачивались с боку на бок.

Вот и Андрей переваливался с боку на бок, а пол трещал у него под ногами.

Удивлялся, отчего же чемодан такой тяжёлый, неужели мощи неизвестного святого могут быть такими неподъёмными.

«Могут, потому как вобрали в себя великие и тяжкие грехи человеческие», — отвечал на недоуменный вопрос Иродова, словно бы слышал его наяву, пресвитер Василий Колоколов. Тот самый, который начертал «Вот тебе, раб Божий Андрей, чемодан, дан он тебе по силам...» и благословил его в путь, выдав бумагу, на которой был нарисован план того места, куда сей чемодан следовало доставить.

До вокзала Андрея довезли на интернатовском микроавтобусе, помогли сесть в вагон, а проводника предупредили, что пассажир глухонемой.

И вот Иродов входит в плацкарт, ставит свою ношу на нижнюю полку, садится рядом, вздыхает глубоко-преглубоко и смотрит в окно.

Знает, конечно, что поскольку оно закрыто на зиму, то не пропускает никаких звуков, вероятно, оправдывает свою глухоту тем самым, впрочем, и лиц сквозь эти замызганные стёкла тут не разглядеть толком.

А меж тем где-то далеко, как в страшном болезненном сне, тепловоз начинает толкать воздух перед собой, дёргает состав, трясёт пол под ногами, как во время землетрясения, и движение начинается.

Всегда так было, есть и будет, по крайней мере, в его, иродовском воображении, когда пространство при начале движения тут же и смазывалось, затуманивалось, особенно когда поезд въезжал в дождевой или снежный фронт, — уплывала картинка назад, оставаясь в безымянной местности, которую нынче проехали и возврата в которую не будет никогда. Впрочем, порой можно было успеть разглядеть стоящих на насыпи путевых рабочих или детей, осваивающих привязанную к дереву автомобильную покрышку в качестве качелей, но это был лишь миг, ничего не значащий эпизод на фоне идущего с севера на юг или с востока на запад состава, который внутри себя вёз каких-то других людей.

Лица этих других людей покачивались.

У Андрея голова тоже покачивалась.

Покачивался при наборе скорости и вагон, скрипел, грохотал на стыках, стонал.

Некоторые из пассажиров, не желая быть замеченными, прятали свои лица в ладонях, в пахнущие железнодорожной водой подушки, что само по себе выглядело нелепо, ведь проводник уже опознал их, учёл и, более того, отметил в своём путевом журнале, заправил в вислые пазухи дерматиновой папки их проездные документы.

Другие же пассажиры, напротив, прислоняли свои лица к окнам, за которыми происходило яростное мельтешение, выставляли себя таким неприглядным образом напоказ, мол, смотрите — «мы едем-едем-едем в далёкие края». Не могли, впрочем, они не задумываться над тем, что совсем скоро поезд остановится, и можно будет выйти на полустанке, чтобы покурить или просто подышать свежим воздухом.

Было боязно им, конечно, в такие минуты, что вдруг они, задумавшись о чём-то глубоко или сбежав с насыпи по нужде, отстанут от поезда и будут вынуждены провожать безумным взглядом уходящий состав, который змеем заползёт в густой, непроглядный и медленный лес.

Тут же и одичают они на полустанке, проклиная себя за нерасторопность и невнимательность, тут же и начнут выть наподобие бездомных собак: «У-у-у-у-у».

И, наконец, были такие пассажиры, которые, оказавшись в вагоне, сразу же засыпали, буквально изнемогали мгновенно, у них сами собой закрывались глаза, и они падали как подкошенные на деревянные полки плацкарта, поджимали колени к животу, начинали одновременно стонать во сне, кашлять, храпеть и пукать.

«Эти до конца так без белья и проспят, не добудишься, что твои мертвецы», — вздыхал проводник и уходил в тамбур к углю.

Инна Волошина

Софа, София, Софико

Рассказ

Каждое утро Софа выходила на улицу и шла, как красиво она выражалась, — в осень. Или в зиму, в весну, в зависимости от времени года. «Здравствуй! Здравствуй дорогая! — она приветствовала меня по телефону звонким, совсем не старческим голосом, хотя ей давно перевалило за семьдесят. — А я убегаю! В весну убегаю! К солнышку. Во всё чудесное!»

Бежать в общем-то ей было некуда. Маршрут всегда возникал стихийно, главное, чтобы зимой в месте прибытия было тепло и недорого. Выйдя из дома студёным днём, Софа часто отправлялась в Ленинскую библиотеку отогреться. Заказывала подборку старых советских журналов-толстяков и погружалась в чьи-то далёкие от неё филологические диспуты о поэзии Ходасевича или прочитывала новую повесть неизвестного ей автора. Позже выяснялось, что автор уже давно утвердился на литературном Олимпе, но ей нравилось чувствовать себя первооткрывателем и по-детски тщеславно убеждаться в верности собственного отбора. Однажды, прочитав Льюиса, уже давно прославившегося своими «Письмами Баламута» и «Хрониками Нарнии», она, потрясённая, сообщила мне: какая сильная вещь! Английский писатель, имя не запомнила, а название — «Просто христианство». Выяснив, что Клайва Льюиса человечество давно открыло и до неё, Софа радостно воскликнула: «Ну конечно! А я без чьих-то наводок и авторитетов поняла, что он *большой человек*».

Во всяком чтении она искала назидательное. И не просто назидание, а некую весть, посланную лично ей самим Господом Богом. Психологи — гуру сегодняшних дней — утверждают, что на Бога каждый проецирует свои представления о Нём, застывшие в цементе детско-родительских отношений: для кого-то Он судья и каратель, для кого-то безличное туманное нечто, разлитое во всё, а кто-то и вовсе имеет дело с равнодушным наблюдателем,

Волошина Инна Евгеньевна — журналист, искусствовед. Окончила Кейптаунский государственный университет, факультет истории искусств. Автор искусствоведческого цикла и ряда интервью в журнале «Фома». Печаталась в журналах «Знамя», «Юность». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

однажды в грусти сотворившим этот мир и уже подуставшим от его нелепого существования. Бог Софы был назидателем. Она проживала в мире, полном каждодневных пророчеств, подсказок и откровений свыше, словно пыталась просверлить отверстие в стене будничной реальности, чтобы хоть одним глазком подглядеть, где скрывается ежедневная первопричина происходящего с ней. Будто всё ждала, искала ответы на давно мучившие её вопросы. Бдительная к каждому знаку, чуткая к случайной-неслучайной встрече, прочитанной строчке, она всегда делилась нечаянной радостью своих озарений, догадываясь вдруг о чьей-то неожиданной миссии в своей жизни, текущей как лабиринт хитросплетений: ох, дорогая, какую же мудрую вещь я сегодня прочитала! И она пыталась процитировать мне по памяти: есть люди — трава, её много, она не цветёт и не даёт плодов; существуют люди-цветы, они красивы, благоуханны, но недолговечны и бесплодны. Есть же те, кто, как фруктовые деревья, прекрасны и в цвету, и по плодам своим. Софа, тут же задумавшись, кивала головой, как бы подтверждая правоту высказанной автором мысли: дескать, как много вокруг этой травы дикорослой. Всюду, всюду трава, зелёная ли, побуревшая. Почти всё человечество сегодня — трава, — переходя на космические обобщения и, задумавшись ещё на секунду, она простодушно подливала мне медового сиропу: «А вы, дорогая, куст хризантемы — такой розово-сиреневый, со стрелчатými лепестками». Оставляя меня утешаться, что среди деревьев и цветов на этом импровизированном гобелене мне выпало присутствовать пусть не златоцветной, но всё ж хризантемой, впрочем, быстротленной и бесплодной.

Тем, кому просто и без затей естся, спится, любится на этой земле, она не доверяла: «Это же какой-то плоский позитивизм!» — разочарованно и снисходительно бросала Софа, слушая рациональное объяснение чего-то необыкновенного в её жизни. А необъяснимое и чудесное происходило с ней на каждом шагу. Мягкий дым таинственности плотно окутывал Софину реальность. Погружаясь в эту дымную облачность, она пыталась в её очертаниях распознать спасительные подсказки. Как-то, проходя мимо железнодорожной станции и раздумывая о словах соседки, встретившейся ей утром в лифте, она очнулась от резкого гудка электрички, тут же приняв это за сигнал того, что мысли её сбились с верного пути. В другой раз Софа сообщила по телефону, что не смогла найти в доме книгу любимого писателя-фантаста. Она часто перечитывала её, творя над текстом свою алхимию, расщепляя фразы автора на понятные только ей золотники припрятанной в его мыслях мудрости. «А тут вот не могу найти, и всё! — удивлялась Софа, уверяя, что обыскала весь дом. — И вдруг включаю телевизор и узнаю, что он умер! Вот вам и случайность!» — восклицала она, ошеломлённая. Писатель, получается, ушёл не только из этого беспокойного мира, но одновременно мистически исчез и из Софиной квартиры, захлопнув невидимую дверь их тайной связи.

Как-то, сидя рядом в машине и слушая, как известный режиссёр в радиопрограмме чеканит свои мудрости, она взмолилась: «Выключи, дорогая, умоляю, выключи». — «Вроде умные вещи говорит», — усмехнулась я. — «Вещи умные, а голос глупый, — резюмировала Софа, от досады повернувшись к окну. — Есть страшные голоса, — провозгласила она, — такие тихие, жуткие,

ползучие. Через них будто нежить прокрадывается и душу замораживает. А есть глупые, полые, пустые, — вещает человек вроде умно, уверенно, а кажется, что в медные тарелки бьёт. Вот и режиссёр этот таков», — заключила она с уверенностью, будто данной ей из некоего первоисточника всех правд. У неё были нервные руки; взмахивая ими, она словно кончиками пальцев осязала шелест чего-то всемирного, невидимого, несущего ей свои призрачные вести. Присущая ей вера в Христа смешивалась с густым варом мистицизма, помноженного на Софину самобытность. Слушая её были-небыли, я зачарованно погружалась в её чудной и чудный мир многокрасочный, с запахом детства, населённый всякими милыми существами, вещами снами, и в то же время жутковатый: с промельком чьей-то безумной полуулыбки в случайном тёмном окне или льдистом змеином взгляде из сумерек ноябрьского дня.

Одевалась Софа как-то невпопад, нахлобучивая на себя всё, что случайно попадало под руку: какие-то шапки, поверх — вязаные платки, потёртые кофты, жилетки. Увешивалась бусами неподходящих цветов; в руках сумки-котомки и деревянная трость, которую она несла как посох, готовая «творить свои знамения». Серебряные волосы вечно выбивались из пучка. От короткой стрижки она почему-то решительно отказывалась. Во всей какофонии её образа чуялся некий внутренний разлад, но каждая струнка по отдельности звучала тепло и даже ласково. Она казалась той вечной странницей из сказок или давних преданий, ходящей то ли по земле, то ли над землёй. Задумай кто писать её портрет, вышло бы что-то в духе нереальной реальности Шагала, только в согревающих золотистых тонах.

О себе она всегда говорила в третьем лице. В зависимости от происходящего называла себя то Софой, то бесшабашной Софкой, и лишь изредка — Софико, чутко улавливающей сгущающийся запах дыма вокруг чьей-нибудь судьбы.

Никто толком не помнил, где она работала до пенсии. То ли няней, то ли в какой-то конторе.

Я знала, что Софа живёт с сыном, о котором она говорила мало и неохотно, скупно бросая мимоходом, что он уже долго не может найти работу. О личной жизни рассказывала ещё меньше, лишь однажды сообщив, что давно разведена. И казалось, что личное — лишнее для такого полусказочного персонажа. Вот она встаёт поутру, берёт свою палку-посох, обвешиваясь котомками, и бесстрашно отправляется в ежедневное странствие по московским улицам, высматривая теснящиеся на пороге нового дня уготованные ей встречи-послания.

Она часто ходила в храмы. Любила церковь Пророка Божия Илии в Обыденном переулке и тот храм Святителя Николая в Клённиках, где хранятся мощи московского старца Алексея Мечева. Приходила туда, прикладывалась к его раке, прося дать ей нужное, а лишнее отвести, и, доверившись старцу, ждала дальнейшего хода событий. В храмах иногда знакомилась с кем-то или просто сидела подолгу в тишине среди ликов святых, отделённых от мирской суеты, и вся как-то умиралась, глядя в их всевидящие глаза. Иногда новые случайные люди из храма приглашали её выпить чаю или кофе. Дружбы и знакомства Софа заводила легко, но, если не срасталось, не судила никого, а, подхватив свои сумы

и думы, шла дальше, не забывая подвести итог: мне неслучайно это было дано; многое, ох, многое я через это поняла.

Свой золотой век она прожила в сельском храме в Тульской области, где я с ней и познакомилась, приехав как-то навестить своего духовника отца Адриана. Он овдовел несколько лет назад, и с тех пор Софа помогала ему по хозяйству. Она поселилась в деревенском доме возле храма, обустроившись в крохотной комнатухе на втором этаже с видом на деревенскую разруху и озеро. Тогда она мечтала совсем порвать пуповину с этим миром, уйдя в монастырь, но отец Адриан не благословил.

В этом доме при храме Софа прожила несколько лет. Ездил с отцом Адрианом на требы, хлопотала по хозяйству. Перед ранней службой летом в саду садилась на давно не крашенной деревянной скамейке и здоровалась со своими колокольчиками-незабудками, считая их богородичными цветочками с их синим цветом и кротостью. Я гостила у отца Адриана зимой и больше всего любила всенощную по будням, когда почти никого в храме не было. Батюшка служил, а Софа на подхвате: то кадило разжигала, то Псалтирь читала, и, казалось, в те редкие моменты их молитвы высились до самых небес. Мы всегда ждали отца Адриана, уезжающего иногда в Москву по делам. Он возвращался затемно, уставший, загруженный чужой болью и бедами. Помолясь, садились ужинать. Вокруг тишина, изредка прерываемая лаем деревенских собак. Зимой за окном снежок порхает, покрывая маленькую белую церквушку, и всё вокруг, как на старых рождественских открытках, живёт с детской доверчивостью к тайне под вечным, непотухающим звёздным небом. Что-то древнее, библейское было в этих вечерах. И начинались долгие, в ночь, тихие разговоры. Софа жалась поближе к иконе Иверской, которую особо почитала, зябко куталась в серую шерстяную шаль, внимая каждому слову своего батюшки.

Отец Адриан умер зимой, под Рождество, и осиротевшей Софе пришлось вернуться в московскую жизнь. Какое-то время, казалось, она и сама дотаивает, как свечка, горевшая у неё вечерами перед фотографией покойного батюшки. А потом он явился ей во сне, и пришло утешение.

Однажды Софа позвонила сообщить, что упала, поскользнувшись возле дома, попала в больницу, переломав ногу и плечо и сильно ударившись головой. Попросила принести ей что-то необходимое, больничное. Голос звучал непривычно тихо. Первый раз в нём слышались надтреснутые, усталые старческие нотки.

К вечеру я приехала в больницу. Дежурная сестра окликнула меня, спросив, к кому иду. Я назвала имя и номер палаты.

— Пока подождите, — сестра скорбно сложила губы. — Сын у неё. Вечера приходил, но врач не велела пускать. Он пьяный тут сидел, выл в коридоре, рвался к ней, пока охранника не позвали. Сегодня вроде трезвый пришёл. Пустили, — недовольно хмыкнула она.

— Как она себя чувствует? Скользко. Надо же так неудачно упасть, — проговорила я.

— Упасть! — воскликнула сестра и, недоверчиво посмотрев на меня, отвернулась.

— А что же произошло? — Я растерялась, не совсем понимая её резкий тон.

— У неё и спросите! Она расскажет! — Сестра вновь горестно-саркастически хмыкнула.

Уловив общее напряжение, я села на скамейку в коридоре, почувствовав, что не нужно сейчас видеть ни Софу, ни её возникшего из ниоткуда сына, ни кого бы то ни было. Отдала сестре передачу и ушла.

Ледяной город, весь дрожащий от безжалостного двадцатиградусного мороза, быстро гнал прохожих по домам. Вечером позвонила единственному человеку, который мог хоть что-то рассказать о Софе.

— Раз уж вам невольно выпало быть в больнице... — выслушав скорбные вести о Софином падении и о странном поведении медсестры, замаялся Софин друг. — Это боль её. Она молчит о ней. Сын пьёт и бьёт Софу. Ночами она запирает дверь в свою спальню на хлипкий замок, боится даже в туалет выйти. Он же не спит, колобродит. Когда жив был отец Адриан, она возле него спасалась. Он всё знал. Молился о ней, утешал. Отец Адриан и позвал её к себе помощницей. Помогал, чем мог. Мало кто об этом знает. Она давно с сыном мучается. В больницу не первый раз попадает. Но сказала, если кто сообщит в полицию, наложит на себя руки.

Ночью я всё думала про Софу, про материнство её и про того, чью головку с младенческим родимым пушком она когда-то гладила на ночь, кому покупала новогодние ёлочные шары с золотыми жар-птицами и чью худенькую ручонку крепко держала в своей, протаптывая очередной жизненный поворот. Держала, но не удержала. Словно тот змеиный ноябрьский взгляд где-то высмотрел её мальчика и, затаясь, долго следил за ним, пока тот, почувствовав вяжущую силу этого взгляда, не оглянулся, не посмотрел — зрачок в зрачок, — а увидев, не ужаснулся, не бросился бежать, а так и стоял, застывши, заполняясь нездешним холодом этого взгляда.

А Софа... Софико, бледная от сердечной боли, каждое утро горестно вглядывалась в опухшее от бессонной ночи чужое его лицо, в стеклянные глаза и, собрав свои котомки, в которых, оказывается, хранила сухой паёк — подкрепиться среди дня — и старую штопаную кофту на случай, если к вечеру похолодает, — бежала. Спасалась от их нищего жилища, от холода домашних стен, среди чужих, случайных, неблизких искала укрытия от настаивающей сыновьей руки, тяжёлой и злой, как у судьбы, метящей приговорённого. Бежала, летела в осень, в весну, к солнышку, во всё чудесное.

Эгвина Фет

Звёзд электрических печенье

* * *

когда б не истечение дней,
то время было бы длинней,
и сквозь него
среди растений
лучи роились бы цветений,
как бабочки под потолком,
сбиваясь бестолково в ком,
в ком
полотно дрожит событий
без всякой связи с этим всем.

вчера мы видели,
скажи-ведь,
как кто-то вышел нао всем.

и время (с)делалось тем уже,
чем туже (с)делалось оно —
чтобы потрогать жизнь снаружи,
почти не нужно ничего.

Эгвина Фет (Григорьева Марина) — поэт, издатель. Родилась и живёт в Ставрополе. По образованию учитель истории, кандидат политических наук. Редактор научного журнала «КАНТ». Публикации в журналах «Звезда», «Юность», «Интерпоэзия», «Балкон» и др. Автор поэтического сборника «Последних полевых букетов шапки» (Ставрополь, 2019) и книги стихов для детей «Сом в летнюю ночь» (Ставрополь, 2022). Финалист международной литературной премии «Лицей» имени А. Пушкина (2019), конкурса Правительства Москвы им. К.И.Чуковского (2022) и Национальной премии в области детской и подростковой литературы (2023).

* * *

густые вязы, наклонённые к пруду,
тянулись вдоль
на поводу у зыби,
не глядя в отраженье под собой
или, точней, дрожа
его при виде.

а мимо едет свадьба, на ходу
дверь открывают
пьяные в уху —
влюблённые
виновники процесса
и движутся решительно к пруду.
он ей кричит: стой, дура, а иначе, —

и горлышко отбитое стекла
ей приставляет к горлу,
чтоб она,
дрожа его при виде, долго после
ни слова из себя не извлекла.

затем,
смирённые, они сидят у вод,
фату несёт
течением, точно птицу,
и лебедь
в траектории дуги,
приняв её тотчас за лебедицу,
вокруг неё наматывал круги,
уже не представляя жизни врозь их.

* * *

непостоянство — вечного каркас,
когда на длинных лапах
ходит час
и еле дышит
слабоумная минута.

и если вдуматься,
как безутешно глупо —
её надежда на спасение от нас,
сопровождающих её как будто
в последний путь,
где вспыхивал и гас
свет солнечный

в попытке утонуть,
качались невесомые предметы,
как шарик ртути
ввинчен в лист газеты,
засмотренной до отпечатков глаз,
колышется
туда-сюда, пока
его не накрывает буква,
и шпили, и мосты, и облака,
пронзённые ужаленной минутой.

гудит труба,
свой вывалив язык,
и щёки трубача горят от бронзы,
вдруг вечер без причины станет розов,
и, в лёгкие набрав
немного воздух,
он прыгает с карниза и летит.

* * *

звёзд электрических печенье,
фольга луны,
её каченье,
и близорукие цветы
стоят глазами по колено —
блаженны
в обмороке сны.
ромашка скажет — я его жила,
орфея тело,
разверзая раны,
линяя в них, униженно ютясь,
чтоб не попасть в сердечные капканы.
утопленница мошка на росе,
застывшая
в одной его слезе —
он соль лакал
влюблённый в эвридику,
взрастив отчасти зренье
не во вне,
а внутрь себя,
как в поминальном зале,
разложены гвоздики,
но никто
их зрением никак не осязали.
когда уже
глазами по колено
цветы стоят
и ты у них в плену,
он просиял и выбрался из тлена,
в крошечных звёзд
оставившись блесну.

* * *

никто не скажет, в вечной мерзлоте
движеньё воздуха проходит по длине,
дыханием ленивым разрезая,
что, как в музее вещь,
хранится, зная,
как трескается воздух изнутри.
но выстоят нетронутыми кости,
нагие мёртвые,
чтобы явиться в гости,
как Лазарь, отряхнувшись ото сна.
и если кто умалит их надежду
на пробуждение,
архангел Гавриил
не скажет больше никому ни слова,
никто не скажет,
и слова без сил
останутся лежать,
когда бы кто-то
в начале было Слово возвестил.

Маленьким карандашом

Саша Пыльников

Пять рассказов-мотыльков о сокровенном

Пропуск

— Семён Яковлевич, глянь, как небо законопатило.

Небо и правда поросло звёздами, словно чистотелом, а прожитое за день не отпускало, лезло настырной бабой, шлёпало губами, задней мыслью зудело. Устал Семён Яковлевич думать — горько выдохнув, осушил пластиковый стаканчик и втянул запах вяленой травы. Ощутил и себя былинкой, коровой помятой. Вон она, рукой подать, любуется рекой. В детстве пели и пели это самое *далеко, далеко на лугу пасутся ко...*

Семён Яковлевич слушать любил, и сейчас прислушивается, как задорно стрекочут сверчки и веет, где хочет, ветерок. Что он тут ищет, непонятно, а ведь ищет же, ворошит прошлое, и прошлое обдаёт густым амбре — помесью застиранного белья и сухоцвета. «Дела-а-а», — тянет откуда-то изнутри Семён Яковлевич и норовит глазами поймать губы Прохора Матвеевича, а те знай себе ползают по чубарому лицу:

— Побольше б таких вечеров и сверчков, Семён Яковлевич, а слов поменьше... Как стрекочут, ну как стрекочут, Семён Яковлевич... И после нас будут, а?..

Прохор Матвеевич и сам уж превратился в лакированного сверчка, засел в покоях осоки, затренькал о былом, заговаривая душистую тоску, а Семён Яковлевич диву даётся, как это сам он преспокойно тает в вечерней дымке, седой такой, как волосы Маши, той Маши, на которую Семён Яковлевич бурчал,

Саша Пыльников родился на берегу моря. Плавает по южным портам, бродит по сибирским лесам. Живёт везде. Чувствует жадно. Пишет в жанре «мотыльков» — стихотворений в прозе о красоте и боли.

ластился к которой... Она ему: пропуск да пропуск, а он ей: скушайте «Коровку». Пропуск далече, на дне дипломата, вещами задавленный, сунешься искать — себя потеряешь!

— Было время... — лопочет из дымки Прохор Матвеевич — игриво так, как ёжик из тумана, и чувствует Семён Яковлевич — мятой тянет.

Времени-то не было никогда, сейчас всегда было, прорастало муравкой и жухло, опадало к ногам матёрыми, смоляными волосами — седело.

И дался ей этот пропуск, ухмыляется Семён Яковлевич, когда глаза-то есть. Нескучно пропуску в дипломате с вещами, а человеку скучно, досадует Семён Яковлевич и чувствует, в груди вдруг захлюпало, торкнуло в ребро; ах пропуск-пропуск! вот бы тебя достаточно в неведомом раю, хнычет Семён Яковлевич и, вконец охмелевший, блаженненько валится на бок, и по раковине ушной хороводит не песня — былица: *далеко, далеко на лугу пасутся ко...*

Распахните окна!

— Не прижимайся ты ко мне — и так душно.

Голос издалека, из нутра подушки. Наутро помнил: тело липкое, источающее аромат розмарина и глухое недовольство. Птицы уже проснулись, порхают и трудятся, а сон ещё живёт на коже. Её в комнате нет.

Ушла, рассыпав в коридоре мелочь, выронив резинку для волос и скомканный чек. Вот тебе и документ: два вока по четыреста девяносто рублей. Страсть оставляет лишь чеки: расправь, прицепи на зеркало и поглядывай время от времени после вечерней поверки морщин.

Ну хорошо, оставим. Хлопнем в ладоши — и с начала!

Хлоп-хлоп!

Начало лишь вата — промокнуть кровь на ране.

Странно...

Тишина, полумрак, топочет за стенкой ребёнок. Споткнулся, упал, закричал глубоко, так и брат кричал когда-то, до лиловости корча лицо. Позвонить, что ли, брату?

— Здравствуй, брат... Да я так, потихоньку... Сигареты вышел купить. Ты-то как? Всё по-старому? Хорошо. Да приехать хотел бы, почему не приехать... Север — дело суровое, но просторное... Дела разгребу — и приеду...

А когда же плоды? День цвета белого чая, в мурашках её кожи — словно день, как она, вышел когда-то из моря, а тут ветер и солнце. Солнце цвета мимозы. Жизнь надо брать измором, решил Жгутиков.

Душа на дне тела пылится, голова мыслями заставлена, как ветхой мебелью, нечем дышать. И матери зря тогда сказал, чуть зашёл: «Провоняло всё вашей вьетнамской звёздочкой. Хоть бы окна открыла, нечем дышать».

Кто ж на улице окна откроет? Спрашивал у прохожего, у собаки заблудшей, уток на речке мучил, даже вырезал на скамейке в парке: «Распахните окна». Зашёл проверить. Закрасили. Слой за слоем, не различить уже в рытвинках букв, а мир распадается на образы, ассоциации и по-прежнему нечем дышать. До чего же смешон сам себе в отражениях, с этим едким прищуром, чернявой вихрюшкой.

— Что же дальше? — спрашиваю у Жгутикова.

Залез на дубок, свесил ноги, закурил, заканючил:

— На какую я птицу похож?

— На грача?

— Слишком грозный и чёрный. Я хочу — корольком. Симпатичный он, кроха. Отпусти меня корольком. Права же она: очень душно.

Я, конечно же, просьбу исполнил.

Улетел корольком дивным Жгутиков, задышал полной грудкой.

Пробуждение

В медном сиянии осеннего дня отец в камуфляжном макинтоше и солнцезащитных очках потрепал бархат головы и вывалил на раскисшую землю резиновую лодку:

— Давай разбирайся, Сём.

Раскатистая «р», хищно разросшаяся до высот сосновых макушек, задрожала в размашистом пространстве.

Пока Семён мучился с ножным насосом, пыхтел, кряхтел, про себя поругивался, отец рекламировал камышовые заросли вокруг острова:

— До него и трёхсот метров не будет, но там нас ждёт щука. Аж здесь слышу, как она плещется. Так что давай, братишка, не тормози. — Он грубо подтолкнул сына, и Семён ощутил, как грудь сдавило от одиночества.

Семён грёб, как умел, и поглядывал на отца: его мосластые пальцы, касаясь иссиня-ржавой воды, оставляли за собой еле уловимый шлейф.

Причалив к берегу, отец выпрыгнул в густую траву, но, поскользнувшись, увяз в иле и заворчал, подтягивая за якорные верёвки лодку на берег.

Густой и плотный аромат леса — влажной земли, израненной травы, разогретой смолы, горячего дерева, хвои — разом нахлынул на Семёна и, казалось, подхватив на руки, отозвался присутствием. Точно вдруг наткнулся полотном лопаты на зарытую в земле тайну, точно и себя услышал, радость звенящую, судьбу родную, непоправимое что-то. Сердце ёкнуло от щедрости бабьего лета, заволновалось в груди: сейчас ему расскажут, почему все попрятались, обезумели от одиночества, да, сейчас вся жизнь скрутится мокрой рубашкой в руках медного дня, и из свёрнутого рога закаplet откровение, пока отец сварливо бурчит там, позади, из плотности лесного духа, пока грязная струйка стекает по голенищу сапога...

И вдруг опало, пожухло, рассыпалось пробуждением.

Очки

Били недолго, но больно: по синяку на удар. Когда же выдохлись, кулаки побросали, ушли — Удочкин подобрал очки.

Трещины на линзах разрастались деревом, всё через них виделось значительным и нелепым. Усы пешехода лезли на брови, брови летали ласточками, глаза рассыпались икринками, автобус перемещался кусками, покадрово, а небо обогатилось на несколько солнц, но больше всего забавлял пейзаж — вспоротый пирожок: из брюха вывалилась зелень ив и пюре черёмух, рассыпался ливером песок и разваренным рисом собиралась пена у берега. До чего же приятно ходить побитым, до чего же предано зрение всякой глупости, удивлялся Удочкин. Пожалуйста, ангелы, милые, поломайте наши очки. Всё вокруг похоже на пение, а мы и не слышали.

— Что ж ты лыбишься, мужчина! — зашипела мопсоподобная женщина. — Вокруг столько горя, не стыдно? Ибо сказано: земля наша разорена, города сожжены огнём! Стоит в своих очках и лыбится, дать бы тебе по этим очкам, скотина!

— Да, вы правы — скотина. Раньше ходил и нюнился, а сейчас ожил. Так вол обращается в орла и благодарно обозревает землю.

— Чё ты тут зубы сушишь, фрик? — заклацал подросток и постарел на тысячу лет.

— Да, мальчиш-кибальчиш, я слишком невзрослый, устал я серьёзным, хочу колесом просторно кататься по всяким дорогам — а ваша серьёзность уже наломала дров.

— Да заткните ему рот, — заревела суевливая девица, и маки на её белом платье отцвели, осыпались пеплом.

— Я и сам губы склею, но камни за меня допоют.

— Челюсть сломать, и довольно! — вылезла из гамака волосатая туча, напаялила кулаки. — Весело, обморок?

— Погодите, я включу камеру! Народ должен знать героев в лицо!

Били ответственно, дружно, вставали страной огромной. Удочкину казалось, ангелы ему шепчут колыбельную на ушко.

Последняя открытка

Чайки тревожно кричали, море шуршало, гурт растрёпанных облаков переплывал голубую глубину. Суматохов не помнил, когда в последний раз смотрел, как закипает молоко волн.

«Восторг и тоску — вот что я чувствую», — нащупал Суматохов и поёжился.

Электричка, площадь, ленты улиц, пара случайных приветствий, лица по окнам, глиняные с чернозёмными глазами, каменистая тропа, галька. Суматохов шёл упорно, стремительно, бросая вызов выносливости и жаре. И вот же — здесь. Стоит и чувствует: восторг и тоску.

Над шелестом воды пронеслась наглая, громкая музыка. Яхта ползла по горизонту, словно муха. Очень громкая муха.

— Знаешь же, что чайки пьют море и ничегошеньки им не делается? — услышал Суматохов.

Голубые бантики качались на каштановых косичках, юбка алого сарафана набухла от ветра, словно парус, а в широких карих глазах плыли всё те же облака.

— Интересно, я не знал.

— А человек не может, — девочка по-взрослому развела руками и побежала дальше гонять насупленных чаек.

Суматохов пролежал на пляже до вечера. Пил горькое пиво, ел креветки, закусывал клубникой. Он почти не выпускал из рук телефон: набирал сообщение, стирал, снова набирал...

Возвращаясь на вокзал, Суматохов заметил на стойке букинистического магазина выгоревшую чёрно-белую открытку: море, яхта, над яхтой чайка. Он купил открытку, заботливо приклеил на неё марку и подписал:

Твоя любовь — море.

Человеку не пить.

Прощай...

Вечер затирали пейзаж. Суматохов сидел у окна и сонно улыбался. Стук колёс убаюкивал Суматохова.

Юлия Стоногина

Испивая чашу

«Чайное действо во многом схоже с православной литургией». Когда я впервые услышала такое от сэнсэя Вэ Пэ, — это прозвучало почти кощунственно.

В самом деле, вдуматься: небо и земля. Духовное и потребительское. Причастие кровью и плотью — и зеленая жижа с фасолевым пирожком...

В храм на литургию, если это не радостная Пасха, люди, как водится, приходят в скромном — больше темном или глухо-пестреньком, однотонном, покрываясь платками. На чайную встречу — *тякай* — приходят в шелке и парче, в особые прически втыкают черепаховые гребни или лаковые, серебряные, эмалевые заколки.

Чтобы событие оказалось запоминающимся и приятным, надо пригласить гостей — один к одному: все люди понимающие, со вкусом и с манерами. Интерьер будет вдохновляющий: для многолюдных чайных встреч нередко используют помещения при храмах, но прекрасна и просто чайная комната для небольших компаний, где вся обстановка полна смысла. Там предметы, тонко подобранные, часто единичные — от свитка в нише до подставки под черпачок; чайный порошок — сорта из провинции Удзи, например. Перед вкушением чая подаются искусно аранжированные сезонные сладости: плотные фасолевые зимой, железные летом. В общем и целом требовательное мероприятие. Вот так я и мыслила себе чайное действо: нечто светское и рафинированное. Оказалось, нет.

Какие только люди не собираются на один и тот же *тякай*! Приходят и посвященные, практики, по-чайному скромно и выверенно одетые; приходят и очарованные дилетанты — но изысканные гости, у кого и цвет, и дизайн кимоно и поясов подобраны по сезону, а все прочие аксессуары — чайный веер, платок,

Стоногина Юлия Борисовна — японовед, кандидат культурологии, специалист по межкультурным коммуникациям. Автор более сотни статей на темы диалога культур, русско-японских отношений, японской культуры в российских, европейских и японских СМИ. Эссе, интервью и проза публиковались в журналах «Иностранная литература», «НЛО», «Дружба народов», «Лёд и пламень». Повесть «Три недели в городе А.» стала номинантом на «Русскую премию» нынешнего года. Живёт и работает в Токио.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2013, № 10.

бумага для сладостей — гармонируют друг с другом. Приходят совсем «невоцерковленные», любопытствующие: взирают с трепетом на драматургические повороты чайного действия, следят за опытными гостями, опасаясь своей европейской одеждой, неумелыми движениями оскорбить традицию. Чувствуя, что все полно скрытых смыслов, думают о чае как о масонской ложе.

Приходят и полные невежды, бог знает по чьему приглашению, с жестами и ухватками дурными даже для обыденной жизни, в растянутом трикотаже, с громким смехом.

Приходят старухи — строгие и веселые, как чинно одетые, так и в кимоно «не по уставу», наперекосяк. Приходят юнцы и юницы в джинсах или слишком коротких для посадки в *сэйдза* юбках, сверкая коленками навстречу уважаемым чашкам. Приходят писатели и полицейские, равно неопознаваемые в штанах-*хакама* и пиджаках-*хаори* из плотного крепового шелка. Национальная одежда становится маскировочной.

А кто собирается на литургию? Бредут из разных мест люди разных сословий, возрастов, профессий, семейного положения, таланта и ума. У каждого из них в жизни свое, но всех призвал храмовый колокол. Один уныл, другой доволен, третьему денег не хватает, у четвертого со здоровьем швах — но литургию не служат раздельно для веселых и печальных, богатых и лишенцев.

И чай, он такой же, всеприемлющий. Наливается всем, оздоравливает и утешает любого причастившегося. Здесь тоже есть круговая чаша — особый жанр чаепития, когда гуще, чем обычно, разведенный чай передают гостям в одной чашке, из которой каждый может пригубить по очереди. С приходом пандемии этот обычай законсервировали — так же, как два бесконечных года не причащали в храмах.

Первый чай, как в Китае, так и в Японии, был монастырским. Его пила братия по разным событиям, попивали медитирующие монахи, чтобы не терять концентрации и не засыпать во время бдений. Чай способствовал поправке духовного и телесного здоровья, становясь одним из инструментов для выявления в себе «природы будды». Собственно, изваянию Будды первому и подносились чашка чая.

Светским мероприятием чай стал много позже, но и миряне, впервые попадавшие на чайное действо, оказывались в особом мире, отделенном от их повседневности. Тем более что родоначальник чайного действия в Японии — Сюко — сделал чайную комнату (и по сей день служащую образцом) как копию монашеской кельи, размером всего-то 3,03 метра.

В чайную комнату также вели свои «узкие врата»: квадратный выем не более полуметра в длину и ширину, внутрь было не протиснуться со шлемом на голове или заложенными за пояс мечами. Гость-самурай должен был снять и то и другое (оставить за порогом свое недоверчивое социальное я, отринуть статус), чтобы иметь возможность попасть в сакральный чайный мир. Сейчас, из снисхождения к немощам людским, эти входы, хоть и оставлены как архитектурная деталь чайной комнаты, практически не используются.

* * *

В далекие 90-е сэнсэй Вэ Пэ позвал меня с собой на необычные смотрины. Сам он в свой черед был приглашен микроолигархом, подвизавшимся в литературных процессах, выставочной деятельности, культурных обменах и тому подобном. Узнав, что Вэ Пэ имеет прямое отношение к японскому чаю, тот поначалу глухо намекал на свой интерес. Потом урывками, по-партизански, стал выдавать сведения о непростом хобби, изысканном и высокодуховном, проводящем незримую демаркацию между ним и другими микроолигархами. Потом позвал в гости, не к себе — к чайным чашам.

Мы встретились на бульваре, под летящим снегом, идти до нужного дома было метров двести. Хозяин пришел весь в черном, с серебряной тростью, поздоровался натянуто и позвал за собой. Шел впереди, заметно хромая на левую ногу. Это было как-то неприятно: малолюбезный, черно-молчаливый, сильно состоятельный и с эдакой инфернальной хромотой.

Оказывается, он собирательствовал уже несколько лет. Зачарованный предметной стороной чайной культуры, он выбрал объектом своей мании ее главный персонаж — чашку. Ну а что еще, собственно? Конечно, есть и ценители контейнеров для чая — *нацумэ*. А как хороши бывают бамбуковые ложечки *тясяку* для насыпания чайного порошка! Вырезать такую ложечку — особый талант, и каждая из них отмечена темпераментом сделавшего ее мастера. Самые знаменитые из ложечек носят символические имена, которые надписывает на футляре известный каллиграф. Ложечка «Хилый монах» или ложечка «Молодая зелень», «Зеркальное озеро» — все они намекают на какие-то особые ассоциации мастера, скрывают место создания, или его любимую театральную пьесу, или дзэнский афоризм. На одном тьяке я видела коллекцию из ложечек примерно двадцати — ни одна не похожа на другую: желтые, коричневатые или почти черные, с лопаточкой шире или уже, стройные и массивные, разные по росту...

И все же это предметы второго ряда. Узкий, невесомый кусочек бамбука или скромный, уместающийся в ладони сосудик — пожалуй, мелкогато для большой страсти. Да и знал ли вообще микроолигарх, что чашка — только один из предметов чайного действия, что она окружена другими, работающими с ней в сотрудничестве предметами? А без них она окажется праздною и бессмысленной.

На бульваре у него была одна из квартир, он купил ее специально, чтобы поселить туда чашки. Квартира-студия, квадратов на пятьдесят, с небольшим холлом и условной кухней. В комнате, в ее добротных, метровой толщины стенах, характерных для старого особняка, были выдолблены ниши, к ним подведена музейная подсветка, и в каждой из ниш располагалось по одной-две чаши. Все они были разной стилистики — и серо-белые «мышинные» *сино*, и красно-коричневые *раку*, и асимметричные *орибэ*.

С каждой минутой сэнсэй Вэ Пэ выглядел все более растерянным. Микроолигарх рассказывал о своем участии в аукционах, о том, какие были для него удачными, какие нет. Потом — как он ездил собирать чаши. В Японии у него агент по антиквариату — дама, которая сообщает ему о чайных выставках, и не только. «Ради чашки такого-то или такого-то я туда специально еду.

Алексей Рачунь

ШТИЛЬ НА СЫЛВЕ

Очерк

Известие о том, что я путешествую, ввергает людей в странное чувство. Их глаза тотчас вспыхивают, в них мелькают искры восторга и разгорается сияние ужаса.

«Какой ужас, — говорят их глаза. — Вы путешественник!»

Затем они с усилием жмут руку. С оценивающим усилием это делают мужчины, с аккуратным, расчётливым усилием это делают женщины. Ведь с путешественником нужно вести себя сурово, путешественник не понимает телячьих нежностей, путешественник — человек, чуждый обходительности.

«Дети! — зовут эти люди. — Пойдите пожмите руку дяде, он путешественник! Да что ты суёшь дяде ладошку, — ты жми-жми!»

Пожав руку «дяде-путешественнику», дети с опаской отбегают и принимаются нюхать пальцы, а взрослые с удивлением разглядывают свои ладони — вдруг в них впился рыболовный крючок...

Затем начинаются расспросы. Спрашивают всегда одно и то же: сколько раз вас сжирал медведь; как долго нужно душить волка голыми руками, чтобы он отстал; правда ли, что полярные чайки уносят людей в гнездо и скармливают птенцам; будут ли вас бояться комары, если их кусать.

Журналисты проявляют интерес профессионально. Они начинают с утверждения: «Вас сотни раз сжирал медведь. Вспоминается ли в связи с этим какой-нибудь забавный случай?»

Для людей путешественник — это некий сразу рождённый в горниле трудностей титан, голый по пояс, в штанах из шерсти мамонта и болотных сапогах, лопающихся на мускулистых ляжках.

А путешествие — это непременно во льдах, в ядовитых торосах, — обходя обратившихся в сосульки белых медведей и отрывая головы хищным саблезубым тюленям.

Не скрою, бывает и такое. Но сразу проходит, едва я просыпаюсь.

А потешная истина состоит в том, что путешественником может стать любой. И почти без усилий.

Поход через незнакомый двор от остановки автобуса до дома — уже путешествие. Брошенная под жухлой листвой машина; терзающая ссохлую мышь ворона; палисадник

Рачунь Алексей Борисович — писатель и музыкант. Родился в 1976 году в городе Кунгуре Пермской области. Автор романа-травелога «Почему Мангышлак» (НЛЮ, 2022), путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс» («Рипол-классик», 2022). Живёт в Перми.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

из покрышек-лебедей; цистерна с разлитым молоком и бабушки с бидонами, обсуждающие биткоин.

Это всё путешествие! Потому что предполагает маршрут, его преодоление, постижение нового, обогащение кругозора, расширение мира, возвращение домой.

По сути, любой выход за дверь жилища — уже путешествие. Правда в том, что мир нигде не кончается. А начинается он там, где вы делаете первый шаг.

Для таких путешествий даже придумали специальный термин — психогеография. Об одном таком путешествии я и хочу рассказать.

Недавно у меня выпал свободный день. Не сутки, а день. То есть с утра до вечера.

Перед этим шли дожди, но именно в мой свободный день погода стояла солнечная, пусть и ветреная. Ехать куда-то далеко, дальше сотни километров от дома, не имело смысла — вечером нужно быть в городе. Горы отметались. Лезть с верёвкой на скалы — необходим напарник, или, как говорят альпинисты, связка. Сплав на сапе — идея, но ветер дует пакостный, к тому же я недавно утопил в Каме лопасть весла, а новую мне пока не прислали.

Хотя реки... Реки прекрасны в любое время и в любую погоду. И я недолго думая прихватил самый маленький из имеющихся у меня полутора десятка рюкзаков, такой, чтобы вошли термос, шоколадка, упаковка орехов, и поехал на Сылву. И в Сылву.

Путь мой лежал на реку Сылва и в посёлок Сылва.

Сейчас это одно из немногих селений на одноименной реке, где ещё теплится народное хозяйство. Ещё есть Суксун, а Кунгур со сносом машзавода выбыл из этой лиги. В Сылве же работает птицефабрика, а вот от стеклозавода остался лишь артобъект в виде гранёного стакана.

Как бы то ни было, Сылва посёлок вполне живой и ухоженный. Сказывается близость к Перми, в которую постоянно снуют такси и рейсовые автобусы.

А мне нужен был теплоход «Штиль». Место его пристани на карте, которую я нашёл ВКонтакте, было обозначено лишь приблизительно, так что ехал я почти наобум.

Дорога становилась все хуже, пока не привела на утоптанную травянистую полянку на крутояре реки Сылвы. Здесь была устроена платная автостоянка. Её работник подтвердил, что приехал я правильно, теплоход причаливает здесь, нужно только спуститься к воде.

У воды я растерялся. Я был один, а место никак не походило на пристань. Это был просто галечный бережок. Но вскоре появились люди с рюкзаками, с корзинами, с собаками на поводках и кошками в переносках — типичные дачники.

Тут же откуда ни возьмись зажужжали и моторные лодки. Кое-кто из дачников воспользовался ими, и я догадался, что это такой аналог такси, своеобразные речные бомбилы, перевозящие людей через весьма широкую в этом месте Сылву.

Народу прибывало, бомбилы уехали, а из дымки, устилающей реку, показалось что-то большое. Спустя пару минут по очертаниям стало ясно, что это паром.

Вскоре он ткнулся в галечный берег, работник, хотя вернее называть его матросом, отцепил веревку, преграждающую вход на аппарель, и я взшел на борт.

Паром этот не самоходный, а движимый пришвартованным сбоку катером. Этот катер и есть теплоход «Штиль».

Паром представляет собой типовую плавучую платформу с опускаемой аппарелью, чтобы мог заезжать транспорт. Но площадка под транспорт невелика, почти все свободное место занимают скамейки для пассажиров. Одни стоят на открытой части, другие под навесом.

На пароме просторно, без труда может уместиться добрая сотня пассажиров. В Сылве их село от силы два десятка, из которых половину составляло одно семейство:

мама, папа и шестеро детей, все уже подростки, прямоходящие, но не достигшие старшего подросткового возраста. То есть самые бесенячие.

Но сперва о других пассажирах. Не успел я пройти под навес и занять место, как меня потревожил громкий птичий писк, а затем назойливые звуки — нечто среднее между свистом и громким чириканьем.

Затем под застрехи взялась пикировать пара деревенских ласточек. Они стремительно летали туда-сюда, нимало не смущаясь присутствием пассажиров, лишь недовольно чирикают, что им приходится облетать бестолково спящих людей.

Причиной тому было свитое под кровлей на подвешенных медицинских носилках гнездо и птенцы в нём.

И теперь ласточки торопились накормить детей, пока паром не отчалил. Позже выяснилось, что экипаж судна дал им имена: Рында и Машка.

Птенцы пищали и жадно растягивали желтые клювы, пока Рында и Машка набивали их комарами и мухами.

Мы отплыли. Ласточки Рында и Машка остались на берегу, птенцы улеглись спать. Так они и путешествуют вместе с паромом, пока родители заняты своими делами. А что, весьма здравый подход к воспитанию детей.

Через десяток минут мы ткнулись в, такой же галечный, правый берег Сылвы. Но здесь, в отличие от левого, была оборудована беседка для ожидания, стояли стенды «Берегите природу», да и вообще было более прибрано.

Это Быковка — деревня, знаменитая тем, что в шестидесятых годах двадцатого века здесь была дача классика русской литературы Виктора Астафьева, а также многих других не менее достойных, но не столь известных людей.

Дом Астафьева не сохранился, сгорел более двадцати лет назад, еще при жизни писателя, из-за пьяной выходки местного придурка. Теперь на месте дома крест, установленный и подновляемый энтузиастами и местными жителями.

В этом году столетие великого русского писателя, чей совестливый лирический голос прорезался рассказом «Гражданский человек» именно на пермской земле...

Сейчас в Быковке живут в основном дачники да ночует в заливе на устье одноименной речки наш паром-теплоход «Штиль».

В Быковке сошли почти все пассажиры, кроме семьи с шестью детьми. А взошли на паром мама с девочкой лет десяти, младенцем в коляске и их бабушкой.

Мама сразу исчезла в недрах «Штиля», видимо, была знакома с кем-то из команды, девочка тотчас познакомилась с шестью детьми, а бабушка осталась при спящем младенце.

Следующей остановкой должна была быть Троица. Об этом мне поведала милейшая женщина-кондуктор, когда я попросил у нее билет на круг, то есть с возвратом в Сылву. Кондуктор не особо удивилась, но с участием и сердобольностью обстоятельно расписала маршрут, предупредив, что на воде мы проведем больше пяти часов.

И памятуя о том, что я пассажир, а значит, должен соблюдать инструкции, я терпеливо выслушал и без того известный мне маршрут. Это не лишнее, суда на подобных линиях часто грешат отклонением от курса, в чем я вскоре и убедился.

Из Быковки наш путь лежал вверх по течению, на левый берег Сылвы, в Троицу. Оттуда мы должны были отправиться на правый берег, в Посёлок Ильича, что лежит при устье впадающей в Сылву реки Юрман.

Это самая дальняя точка маршрута «Штиля». Затем ему предстояло идти вниз по течению вдоль правого берега до деревни Кокшарово, а потом и до Лысманово. Кокшарово и Лысманово лежат на противоположных берегах славной реки Кутамыш, что впадает в Сылву неподалеку от Юрмана. По сути, Кутамыш и Юрман разделяет только мыс шириной около двух километров.

Убедившись, что я понимаю, куда и зачем направляюсь, кассир отбила билет. Всё путешествие мне обошлось в сто девяносто два рубля. Конечно, это не все затраты на одного пассажира, но, как я понимаю, речные перевозки дотируются государством.

Как бы то ни было — такое путешествие за такие деньги может позволить себе любой, и это еще один повод в него отправиться.

Едва паром отчалил, шестеро детей захотели есть. Глядя на них, проголодалась и десятилетняя девочка, севшая в Быковке. Ей достали контейнер с виноградом, печеньем и булками, а шестерым детям нарезали на шесть кусков пышный лаваш и на каждый положили по два круга вареной колбасы толщиной в палец.

Девочка из Быковки капризно куснула того-сего, а «великолепная шестерка» умяла все до крошки.

Сперва я счел этот пример показательным, как нужно относиться к питанию детей: голодный — съешь все. Но вскоре решительно переменял свое мнение.

Теперь мне казалось, что наивернейшим решением было бы не кормить детей вовсе. Ибо, подкрепившись, эти семеро (шесть плюс одна) устроили на пароме черт знает что. Они носились по лавкам, перевешивались через борта, использовали стойки навесов на манер танцевальных пилонов, визжали, бесились и натурально сходили с ума.

Особенно преуспевал в этом мальчик по имени Гоша лет восьми-десяти. Невысокий, коренастый, круглоголовый и лобастый живчик, он являл собой воплощение того, чему давно подобрано веское народное слово из шести букв. В цензурном варианте оно сокращается до пяти — углан. Но уже не содержит нужной коннотации и не обладает достаточной емкостью характеристики. Даже весьма выдержанные родители порой срывались на Гошу, а другие дети и вовсе сторонились его, будто городские родственники сельского танцора на свадьбе. Но Гоше все было нипочем. Он забегал на аппарель, задира л девочек и чуть было не подобрался к ласточкиному гнезду. Но тут уж вмешалась степеннейшая женщина-кондуктор и сказала что-то такое, от чего этот бесолоб угомонился. Впрочем, ненадолго.

Одного Гоши было достаточно на пароме, чтобы внести в степенность его хода живую струю. Но остальные шестеро детей если в чем и уступали ему, зато брали числом.

Я, конечно, шучу. Это все понятно и объяснимо — дети, свежий воздух. Но с непривычки такое мельтешение способно развить мигрень и требующий медицинского вмешательства нервный тик даже у самого психически устойчивого человека.

Но, как в том анекдоте про подводную лодку, деваться было некуда, и я предпочел радоваться, что нахожусь на пароме, а не еду с этой компанией в плацкартном вагоне. Да и кто обещал, что психогеография — это нечто абстрактное, а не буквальное?

Можно было отвлечься. Ведь наш путь пролегал по удивительно живописным местам.

Мы шли против течения вдоль правого, вздыбившегося каменной стеной берега Сылвы. Дальний левый берег манил нас издали зеленью бесконечных рощ и посадок, и было это как в кино, когда в кадр попадают пробегающие мимо окна поезда деревья. Они качаются, гнутся, машут ветвями, но шума ветра в их кронах не слышно.

Вот и у нас на «Штиле» звучала совсем иная музыка. Билась в суровые камни разгулявшаяся на приволье волна, журчала вода под килем теплохода, да шелестели в вышине, на отвесном правом берегу, сосны. Изредка с одной из них пикировала на реку скопа и взмывала к гнезду с зажатой в когтях рыбой.

День был ясный, погожий, ветер стих, а небо набухло синевой. И легкие белые облачка висели в нем, как взбитые сливки в десерте, и опрокидывались в голубую чашку реки.

И рекой, и небом, и крутым скалистым берегом хотелось любоваться и любоваться. Тем более здесь, на нижней Сылве, — этот берег совсем не такой, как в среднем или верхнем течении. Он высок, горист, но мало напоминает тот сылвенский ландшафт, что ярко проявляет себя вблизи Кунгура, например, от камня Ермак и до Кишерти.

Те ландшафты грандиозны. Высоченные известняковые скалы — рифы древнего моря будто раздирают вершинами наплывающее на них новым морем небо, а подножием, телом, плечами сдерживают давление толщ земли, не давая им соединиться, срастись и поглотить извивистую ленту Сылвы.

Когда мне доводится путешествовать на поезде в сторону Екатеринбурга, я всегда стараюсь занять место слева по ходу его движения. Чтобы, проехав Кунгур, насладиться впечатляющей параболой горно-речного ландшафта, по которой мчится поезд. Ну, а когда я возвращаюсь, то занимаю место справа.

Но сейчас я ехал не в поезде, а плыл на пароме, и не по средней, а по нижней Сылве. Здесь тоже был камень, но не известняк, а гипс. И нависал он над водой не скалами с залесенными распадками, а сплошной стеной, уходящей в воду.

Это, конечно, не та высоченная стена, что Ветлан на Вишере или Столбы на Усьве, зато в длине она их явно превосходит. Весь правый берег от Быково — это многокилометровая скалистая гипсовая круча. Ее бы можно было сравнить с Лунезскими горами, что тянутся по левому берегу Камы между Добрянкой и Полазной, но чтобы пройти водой вблизи Лунезских гор, требуется гораздо больше усилий. Ведь основной судовой ход находится в отдалении. Поэтому нужно найти какое-то маломерное плавсредство — катер, лодку, каяк, сап...

Сылва в этом смысле куда гостеприимнее — плывешь себе на паромчике, глазеешь по сторонам, кругом красота и тишина. Если, конечно, в попутчиках нет семи (шесть плюс одна) детей.

А впереди показался впечатляющий железнодорожный мост. Путь по нему ведет из Перми в Чусовой и далее через весь горнозаводской Урал, через кручи и скалы, среди дремучих лесов, по горным отвесам, по пробитым в миллионлетнем камне извивистым железнодорожным серпантинам, через границу Европы и Азии, через Уральский хребет в Екатеринбург.

Сейчас есть более быстрый и прямой путь — Транссиб, как раз на нем, на перегоне Кунгур — Кишерть, лежит грандиозная парабола сылвенских скал, но и горнозаводской путь не забыт.

Он старше Транссиба, и именно он виной тому, что на всем нашем пути мы не встретили ни одного судна, не считая рыбацких лодок.

Путь по железной дороге и быстрее, и дешевле речного. А ведь мы шли по местам исключительно благоприятным для судоходства. Ни мелей, ни островов.

Удивительно, в девятнадцатом веке, в эпоху расцвета речных перевозок, судоходство страдало от мелей и перекатов. Это настоящее бедствие, которого было не избежать ни на одной реке.

Люди того времени придумали множество изощренных способов победить сию напасть. Одни только их названия звучат сколь величественно, столь и тревожно. Они то давят приставками, то скрежещут корнями, то бурлят, теснятся, пузырятся суффиксами — землечерпание, водотеснение, дамбостроительство.

Способы эти применяются и сейчас, но перелом наступил лишь с электрификацией и перекрытием рек плотинами. Плотины подняли уровень больших рек, сделали судоходство возможным даже там, где его никогда не было.

И именно электростанции его и убили. Дешевая электроэнергия привела к развитию электровозов и окончательно вышвырнула паровой двигатель на свалку истории. Одна из свалок находится как раз на Сылве, близ деревни Шумково. Там расположена база хранения списанной железнодорожной техники. Есть на этом «кладбище» и паровозы.

Василий Авченко

Широта крымская, или Пароль не нужен

Очерк лирической географии:

уехать за восемь тысяч километров — и остаться при этом дома

Выросший во Владивостоке, в Крыму за свои 44 года я не бывал ни разу. Как и Москва, он казался не вполне реальным, был картинкой из книжек и кино.

Хотя нет — в одном из Крымов я был. Это заброшенный посёлок у нас в Приморье. На дороге из Владивостока в Находку даже стоит указатель: «Крым — 6 км».

До крымского Крыма — не шесть и даже не шесть тысяч километров — побольше. Да и море у нас есть своё, такое же синее, как и Чёрное... Но Крым со мной всё-таки случился — благодаря Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Крымские параллели: Владивосток — Севастополь

Вопреки расстоянию, между Крымом и Приморьем, Владивостоком и Севастополем — много общего. Вовсе не только «широта крымская» из поговорки.

Строго говоря, Владивосток южнее Крыма. Самый южный крымский мыс Сарыч — на 44-й параллели, Владивосток, как и Сочи, — на 43-й. При слове «юг» Приморье вспоминать не принято, но всё-таки путь из Владивостока в Крым — не только на запад, но и немного на север.

Как широта сама по себе ещё не определяет климата (пальм, допустим, у нас нет; зато есть лианы, пробковые деревья да много чего ещё), так расстояние не делает города чужими. Севастополь для Владивостока куда ближе и роднее, чем Токио или Сеул, до которых, казалось бы, рукой подать.

Владивосток — побочное дитя Крымской войны. Когда мечты о Царьграде рухнули, на Тихом (никаком не тихом, конечно) океане Россия зачала новый

Авченко Василий Олегович — журналист, прозаик. Родился в 1980 году в Иркутской области. Окончил журфак ДВГУ. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов». Автор документального романа «Правый руль» (2009, переведён на японский), беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока» (2012), фантастической киноповести «Владивосток-3000» (2011, в соавторстве с музыкантом Ильёй Лагутенко). Живёт во Владивостоке.

Константинополь — военный пост с великодержавно-византийской топонимикой: Владивосток, Золотой Рог, Босфор Восточный... Не нужен нам берег турецкий.

Глазам и ногам владивостокца в Севастополе привычно и уютно: море, сопки, изрезанность береговой линии... Чайки вдруг запели на знакомом языке.

Владивосток и Севастополь могут дружить кораблями. В одной из бухт замечаю знакомые мачты. Это «Херсонес» — brother ship наших «Надежды» и «Паллады», отсылающих к романтику Марлинскому и реалисту Гончарову. А вот по части паромов и катеров, снующих на Северную сторону, подобно правильным пчёлам, Владивосток мог бы взять с Севастополя пример. Наш морской город уже на моей памяти лишился морского пассажирского транспорта почти полностью — нонсенс.

Ещё можно дружить рыбами и моллюсками. Из старинного путеводителя по Коктебелю узнаю: не только рыба-пиленгас сменила Японское море на Чёрное, как многие мои земляки. Оказывается, ракушка рапана прибыла сюда с Дальнего Востока на днищах кораблей, как незаконный мигрант, и с ходу начала наводить свои порядки, терроризируя нежных черноморских устриц...

Номера машин — учебник российской географии на колёсах. Попадаетея, как ни странно, немало праворуких «япономарок», пригнанных от нас, — от древних «спринтеров» и «блюбёрдов» до свеженьких электромобильчиков Nissan Leaf, прозванных, естественно, лифчиками.

Во Владивосток с самого начала попадали моряки либо с Балтики, либо с Черноморья. Общим фигурам, параллелям уже не географическим, а человеческим, — несть числа. От севастопольца Станюковича, заброшенного морской судьбой и болезнью в новорождённый Владивосток ещё в 1861 году, до того самого лейтенанта Шмидта.

В здешней 30-й и в нашей Ворошиловской береговых батареях живёт пущенный на иголки линкор «Полтава», он же «Фрунзе». Две его орудийные башни достались Владивостоку, две — Севастополю.

Человек отражается в зеркале, город — в другом городе. Сложить карту нашей страны по енисейскому меридиану — и всё совпадёт, зарифмуется. Проявится трансконтинентальная симметрия — от Таврии до Маньчжурии, от Магадана до Петербурга, от Южно-Сахалинска до Калининграда...

Если Владивосток и Севастополь — братья, то, конечно, не близнецы. Рождённый от войны и для войны, Владивосток всерьёз не воевал ни разу. У города-героя Севастополя — вечный бой, и покой даже не снится.

Реалии военные усложнили логистику: самолёты теперь в Симферополь не летают — только в Адлер. Дорога — около полутора суток — напоминает контрастный душ: из тепла Владивостока — в снежок и морозец Новосибирска, потом — в тепло Адлера и, наконец, поездом в Крым. Небыстро. Но зато теперь есть Крымский мост, накрепко привязавший полуостров (едва не уплывший прочь, как в аксёновском «Острове Крыме», но вернувшийся) к mother country. Мост, гласит объявление в поезде «Таврия», фотографировать нельзя, — тоже примета времени.

Яндекс-такси в Крыму почему-то не работает. Здесь до сих пор — роуминг, его всё обещают отменить, но пока не отменили.

Это, впрочем, не главные впечатления, важнее — другое. Каждый топоним, вдруг обретающий осязаемую плоть, — давно знаком. С Приморьем — не так: кому из далёких гостей знакомы наши Посыет или Терней? По-своему мне это даже нравится: вот оно — наше, потаённое, открывающееся не всем; легко ощутить себя хранителем

сокровищ. В Крыму же — постоянные дежавю, как будто здесь ты уже был, жил. И ведь вправду был, — читая книги, смотря кино...

Культурное освоение территории не менее важно, чем военное, административное, хозяйственное. У меня есть ненаучная, но неопровержимая теория, по которой Аляска отпала от России потому, что не успела стать фактом русской культуры: о ней не сложили песен, не написали романов и картин. Крым по части культурной освоенности — в лидерах, она тут зашкаливает и зашкваливает. Здесь если не жили, то бывали, кажется, все наши классики, начиная с Пушкина.

Крым — актёр широчайшего диапазона: в кино он играет Кавказ, Тихий океан, Дикий Запад, Крайний Север и даже иные планеты. В Севастополе сняты и владивостокские сцены сериала «Исаев» Сергея Урсуляка о приключениях юного Штирлица (действие первого романа штирлицяны Юлиана Семёнова — «Пароль не нужен» — происходит во Владивостоке, Хабаровске, Забайкалье и Маньчжурии).

Семнадцать мгновений вечной весны

Что я могу написать о Крыме? Всё уже написано до нас. Чтобы писать по-настоящему, надо здесь жить, заняться делом, врасти в территорию. Тогда она начнёт с тобой говорить, доверять сокровенное.

Родину — ни большую, ни малую — не выбирают и не меняют. Но хотя бы прикоснуться к крымской земле и воде, убедиться в том, что и здесь, за добрых восемь тысяч вёрст, ты не чужой, — очень важно. Прикинуть на себя другой край, как Севастополь примерил роль Владивостока. А потом вернуться к своему рубежу, своей вахте, которую никто другой за тебя не отстоит.

Принято ехать в Крым в пляжное время. Мне хотелось попасть сюда не в сезон, когда Крым не переполнен купающимися туристами и остаётся как бы наедине с самим собой. И вот я иду по ноябрьскому Коктебелю. Кафешки закрыты, вокруг — пусто, одни коты и надписи: «Машины не ставить». Вспоминается ещё одна параллель: у Давида Бурлюка есть картина, названная кем-то «Вид побережья Крыма. Коктебель». На самом деле на ней изображён владивостокский пляж в районе бухты Тихой, в народе именуемый Диваном. Бурлюк, видимо, написал её в 1919—1920 гг., когда перед эмиграцией жил во Владивостоке.

Гора Узун-Сырт; здесь лётчик Константин Арцеулов — внук Айвазовского и сам прекрасный художник, укротитель страшного штопора — с 1923 года проводил планерные слёты. По легенде здешние восходящие потоки открыла шляпа Максимилиана Волошина, сорвавшаяся с его головы и взмывшая ввысь; или же сам Арцеулов предложил поэту запустить шляпу в небо, объясняя ему механику безмоторных полётов. Через арцеуловские слёты прошли знаменитые впоследствии лётчики и конструкторы: Королёв, Антонов, Яковлев, Ильюшин, Мясищев...

Руины Херсонеса, генуэзская крепость Чембало в Балаклаве, древняя Феодосия... Это особое ощущение — касаться давно согретых человеком камней. На Дальнем Востоке — другое (и ценное по-своему): дикость. У нас и море кажется не таким домашним, и тайга — первобытной, стоит лишь чуть отойти от жилья, от дорог... Освоение Дальнего Востока началось сравнительно недавно. Мы ещё в начале пути. От нас зависит, насколько долгим и результативным он будет.

У России немного тёплых морей, но и холодные — подлинные сокровища. Именно в них водятся лучшие рыбы и крабы. Они — как холодильник, необходимый человеку не меньше печи. Никакой край — не лишний, это знали ещё наши первопроходцы. Такие, как Афанасий Никитин, «хождение» которого пролегло через Кафу (Феодосию) и Гурзуф...

По головокружительной горной дороге мы едем с историком, литератором Алексеем Репиным — сибиряком, ставшим крымчанином (Вергилий водил Данте по аду, а как назвать проводника по раю земному?) — в Оливу под Ялтой, к дому Юлиана Семёнова. Теперь это вилла «Штирлиц», дом-музей писателя, где гостей принимают бесплатно. Мы осматриваем предметы, которые Семёнов привозил со всего мира, — например, кусок сбитого лаосскими партизанами американского самолёта. Участвуем в презентации книги Ольги и Дарьи Семёновых «Мгновения и вечность. Мир Юлиана Семёнова глазами дочерей» и биографии «Юлиан Семёнов: от Виткевича к Штирлицу» Алексея Репина. Семёнов видел Крым курортом мирового масштаба, строил планы, ещё в последние советские годы приглашал иностранных инвесторов. С распадом СССР и уходом писателя его проекты забылись, но, как оказалось, не навсегда. «Крым был забыт, погрузился в крайнюю бедность... Мы всё больше переживали за будущее нашего любимого полуострова. После 2014 года, пусть с опозданием в тридцать лет, начали реализовываться отцовские мечты: появился в Симферополе красивый современный аэропорт, протянулись по полуострову скоростные дороги», — рассказывает Ольга Юлиановна.

Вместе с представителем АСПИР Надеждой Ерёменко мы встречались с читателями — в севастопольской Морской библиотеке имени адмирала Лазарева, в Феодосийской центральной детской. Главное впечатление от встреч — простое и свежее, как морской ветер: мы говорим на одном языке, во всех смыслах. Ощущается труднодостижимое, но несомненное единство огромного пространства. Как будто нет этих тысяч километров, разделяющих крайние юго-запад и юго-восток России. Или это невидимая крымская параллель держит нас подобно тому, как киль скрепляет корабельный корпус?

Там, где все — свои, пароль не нужен.

Дмитрий Новиков

Сшивая севера суровой толстой нитью!

Когда в конце этого года Ассоциация союзов писателей и книгоиздателей России предложила поехать в любую точку страны с выступлениями, то многие мои друзья удивлялись — почему я выбрал Якутию. Почему не к тёплому морю захотел отправиться из заснеженной Карелии, а в такой же северный, ещё более суровый регион.

А я искренне не понимал их удивления. Ведь уникальный случай — посетить далёкий загадочный край, о котором только читал в книгах да смотрел во внезапно вспыхнувшем яркой звездой якутском кино!

И когда начал готовиться к поездке, восторг мой стал ещё значительнее. Представить себе всю необъятность этой земли, самой большой в мире региональной единицы площадью большей, чем Аргентина, или две Монголии, или почти равной европейской части России, было невозможно.

В дальнейшем замечательный якутский писатель и он же врач-хирург Анатолий Слепцов, ставший нашим гидом и заботливым сопровождающим в поездках по Республике Саха, только укрепил своими рассказами моё изумление:

— Поехал я как-то в посёлок Усть-Нера подменить заболевшего доктора. Так сутки на такси ехал... А в город Среднеколымск раз по работе летел на санитарном самолёте шесть часов.

Это не описка: на самолёте, а не на вертолёте, если кто понимает в разных скоростях летательной техники.

Наш самолёт приземлился в аэропорту города Якутска. Из Москвы мы летели шесть с половиной часов. За бортом температура воздуха — минус 33...

Аэропорт Якутска носит имя Платона Ойунского, знаменитого якутского писателя и общественного деятеля. В дальнейшем его имя будет не раз всплывать на наших творческих встречах. Его судьба, книги, песни, сочинённые на его стихи, западут в душу. Неравнодушие — вот что на самом деле отличает настоящую литературу. И как-то сразу, с первых минут нашего путешествия, я чувствовал какое-то северное небезразличие, какой-то искренний интерес к этому восточному для меня северу. И в ответ похожие чувства были ко мне, представителю севера западного.

Новиков Дмитрий Геннадьевич — прозаик. Родился в 1966 году в Петрозаводске. Учился на медицинском факультете Петрозаводского государственного университета. Автор многих книг прозы, в частности романа «Голомяное пламя» (М.: Редакция Елены Шубиной: АСТ, 2017). Живёт в Петрозаводске.

Наша делегация состояла из руководителя отдела АСПИР Марии Базалеевой и меня. У Марии были три главные задачи: повсюду распространять красоту, рассказывать на творческих встречах о деятельности Ассоциации с целью привлечения возможных неофитов и внимательно следить за строгим соблюдением регламента процесса. Со всеми задачами Мария справлялась великолепно. И, видимо, в связи с последней из них на моей табличке, которая стояла на Торжественном заседании, посвящённом 90-летию Союза писателей Якутии, была следующая надпись: «Дмитрий Новиков, писатель-прозаик, заслуженный работник культуры Республики Карелия». Вряд ли это опечатка, — незримый и строгий дух Сергея Шаргунова витал над заседанием.

Зато потом, на дружеском банкете, атмосфера была весёлой и раскрепощённой. Я начал получать первые знания о чудесном, интересном крае, куда был занесён волею судеб. Так, например, было интересно услышать, что довольно много прекрасных якутских девушек носят имена цветов, и Сардана значит лилия, а Нургюяна — подснежник. Узнал, что «якут травы не ест», — так отреагировала Наталья Ивановна Харлампьева, замечательный поэт и прозаик, на предложенный ей овощной салат. Порадовал дружеский тост представителей Союза писателей Татарстана о том, что у каждого татарина должен быть свой якут. А когда сам сказал слова о важности связей и дружбы между северами нашей огромной страны, увидел, как слушали внимательно и благодарно. Удалось пообщаться и с писательской молодёжью, рассказал им о новой северной прозе, чувствуя живой отклик. Было очень интересно и значимо.

На следующий день начались наши творческие встречи с читателями. Наталья Ивановна обычно открывала встречу, затем Мария рассказывала о деятельности Ассоциации, несколько слов говорил Анатолий Слепцов, а потом основное время предоставлялось мне как гостю издалека. Где бы мы ни выступали — в лучшей классической гимназии города Якутска, в Институте речного транспорта, на филологическом факультете Якутского госуниверситета, в библиотеке города Покровска Хангаласского улуса, здесь с нами выступал и поэт Гаврил Андросов, — всюду чувствовались большая заинтересованность и внимание. Стихи же пользовались неизменным успехом. Но и мои размышления о Карелии, о моём любимом Белом море, о северных людях — поморах и якутах, — об истории страны и её современной жизни слушались с большим вниманием. Что мне показалось важным — вся якутская молодежь, все дети двуязычны. Они свободно владеют русским и якутским языками. То есть они с рождения билингвы. Со школы ещё начинается изучение иностранных языков, и дети вообще становятся полиглотами. А как хорошо известно всем сопутствующим воспитанию наукам, от физиологии мозга до педагогики, знание нескольких языков очень сильно развивает мыслительные способности, создаёт новые нейронные связи, недоступные без этих навыков. Мне действительно показалось, что якутские дети и молодёжь очень умные, внимательные, культурные люди. Было приятно общаться с ними.

А ещё на филфаке университета случилось практически чудо: мне подарили замечательную книгу «Сказки Русского устья». Оказывается, устье реки Лены при впадении её в море Лаптевых населяют потомки наших беломорских поморов. И как же интересно было находить в этой книге столь близкие сердцу пересечения и совпадения и с любимым Борисом Шергиным, Степаном Писаховым, да и с нашими сказителями и сказочниками из Карелии!

И не мог я, конечно, пройти мимо якутской рыбы! Мы же, карелы, к рыбе далеко не равнодушны. А поморов вообще трескоедами зовут. Поэтому к рыбе я питаю самые нежные чувства. Недаром говорят, что сёмга — одна из главных героинь моего романа «Голомяное пламя». И мечтал я посмотреть на местных рыб. Да что греха таить, и попробовать большинство из них. Попросил отвезти меня на крестьянский рынок Якутска. А тут красота невероятная! Целые букеты из рыб, про которых раньше только слыхивал. Нельма, чир, муксун, омуль, олюторская сельдь. Знакомые тоже встречались, но уж очень здесь красивые — щука, ряпушка, карась, кета, горбуша, сёмга. А потом пришли туда, где копчёную да солёную рыбу продают. Это уж, судари мои, доложу вам, вообще наркотик. Руки мои задрожали от жадности, рот переполнился слюной, а душа восторгом, и накопил я подарков разных столько, что еле домой увёз. Хорошо хоть чемодан большой догадался в поездку взять.

А потом сели мы в якутский ресторан и стали пробовать рыбные яства. А-вой-вой, как же это было вкусно, андели мои! Слабосолёные нельма и муксун просто таяли во рту, а строганине из чира не было равных по нежному вкусу в этом мире! Разве что свежепойманная сёмга на Белом море может с этим сравниться, но не зря, видимо, нельму называют белой сёмгой...

Четыре дня — это очень мало для такой поездки. Только чуть-чуть успеваешь прикоснуться к этой великой, экзотичной и такой русской северной земле — Якутии! Но буря эмоций и чувств настолько сильна, что выматывает тебя полностью и за это короткое время. Много слов рождается в голове и в сердце. Что-то запоминается навсегда, что-то лёгким мороком периодически всплывает в памяти. Нужно заканчивать очерк, а я ведь ещё не написал про интереснейший музей, куда нас пригласили на второй день нашего пребывания. Там была великолепная коллекция якутской национальной одежды, женской и мужской, и нам с Марией даже разрешили примерить на себя самые красивые костюмы и на несколько минут представить себя настоящими якутами. А дальше в музее были мамонты и шерстистые носороги, хомусы и великолепные картины! И пригласили нас туда на второй день, потому что в первый приглядывались по-северному — как мы себя ведём, какие слова говорим. Видимо, всё оказалось правильным. Как же мне напомнило это наших поморских и карельских стариков, которые в первый день знакомства тоже слова лишнего не скажут, смотреть будут. А на второй могут рыбой вкусной угостить, а могут и от ворот поворот дать. Пассибо суури, киана мукки муури!¹

Не написал о том, как в специальной гостевой морозилке в гостинице «ТЫГЫН ДАРХАН» обнаружил вдруг подарок для себя — увесистый пакет с вкуснейшей рыбой от народного писателя Якутии Николая Алексеевича Лугинова. А мы ведь позавчера только познакомились и парой слов не перемолвились. Хорошо хоть я успел книжку свою для него передать...

Рано утром я сидел в самолёте Якутск — Москва. За бортом потеплело, было всего минус 25. Самолёт готовился к взлёту, а я думал о том, какое же важное дело делает сейчас АСПИР. Как он буквально вручную сшивает крепкими нитями культурное, человеческое пространство нашей огромной страны. Как это важно — встречаться и узнавать друг друга западу с востоком, северу с югом, северу с севером. И нити эти — русский язык и литература.

Самолёт заревел моторами. Я перекрестился. Сказал скороговоркой: «Господи, спаси! Платон Ойунский, помоги!» Это хорошо легло на язык. Полёт прошёл нормально...

¹ Спасибо большое, повернись задом к столу! (*карел.*).

2024-й и другие годы: попытка прогноза

В заочном круглом столе принимают участие:

*Евгений АБДУЛЛАЕВ, Ольга БАЛЛА, Мария БУШУЕВА,
Татьяна ВЕРЕТЕНОВА, Константин КОМАРОВ,
Борис КУТЕНКОВ, Александр МАРКОВ,
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Валерия ПУСТОВАЯ,
Елена САФРОНОВА, Александр ЧАНЦЕВ, Кирилл ЯМЩИКОВ*

Принято считать, что сегодня книга — из-за интенсивного издательского потока и устоявшегося регламента премиального цикла — живёт год. Мы попросили наших постоянных авторов — активно читающих и пишущих литературных критиков — назвать пять прочитанных в этом году книг и журнальных публикаций (художественных и нонфикшн), которые, на их взгляд, будут жить долго, и обосновать свой выбор.

Интересен не только их выбор (заметим попутно, что среди названных текстов есть те, что «ДН» рецензировала, рекомендуя к прочтению, те, что были напечатаны на страницах журнала, и те, что редакция отклонила), но и сам подход — критики поделились на тех, кто:

- 1. точно ответил на поставленный редакцией вопрос;*
- 2. решил покреативить и вопрос переформулировал;*
- 3. пошёл по накатанной дорожке, представив на суд читателя традиционные итоговые списки, — маленький штрих к психологическому портрету творческой личности. Самоуправство, конечно, но — безусловно на пользу любознательным читателям.*

Картинка сложилась, пожалуй, еще более мозаичная, чем обычно.

*Евгений Абдуллаев, литературный критик, поэт,
прозаик (г. Ташкент)*

«Жизнь книги измеряется её способностью к возрождению»

Можно начать с небольшого уточнения?

Жизнь книги, думаю, ни от чего этого напрямую не зависит. Ни от премиального цикла, ни от того, в каком издательстве и каким тиражом издана и как продается. Если мы говорим о серьезной литературе, конечно.

Не то чтобы это всё было совсем неважным. Но связано это не с *жизнью* книги, а с ее, условно говоря, *карьерой*. Что не одно и то же.

Книга, простите за тавтологию, живет ровно столько, сколько в нее заложено жизни. Жизни автора, который на нее ее тратит. Жизни, которая отражается в книге. Жизни, которую эта книга способна изменить. Хотя бы немного — на уровне другого взгляда на мир.

Некоторые книги умирают уже на уровне замысла. Некоторые — в процессе написания. Некоторые, как ни странно, — после первого шумного успеха и попадания во всевозможные премиальные списки. А может, именно из-за этого шумного успеха.

Жизнь книги измеряется ее способностью к возрождению, актуализации в каждом новом поколении читателей. Хорошо, пусть не в каждом (а через несколько), и даже не в поколении — а в головах нескольких внимательных читателей.

Определить это при чтении почти невозможно; только постфактум. Когда пройдет как минимум лет двадцать — двадцать пять (цикл смены поколений). Что, например, из вышедшего в конце 90-х — первые годы 2000-х читают сегодня? «Весёлый солдат» Астафьева, «Андеграунд» Маканина, «Generation “П”» Пелевина, «Дочь Ивана, мать Ивана» Распутина, «Голубое сало» Сорокина, «Кысь» Толстой, «Казус Кукоцкого» Улицкой¹... Список может быть дополнен или изменен; у меня у самого к некоторым из этих книг отношение неоднозначное. Но эти книги продолжают читаться, обсуждаться, жить.

Всякие же попытки определить, что из сегодняшнего пройдет хотя бы этот двадцатипятилетний барьер, похожи на ауспиции или гадание по внутренностям жертвенных животных. Процесс, вероятно, интересный, но результат вызывает вопросы.

Поэтому скажу о пяти книгах, которые мне показались просто пока *недоуслышанными*. И которые вполне достойны, чтобы их читали и о них говорили, — хотя бы просто сегодня, хотя бы в нашем литературном цеху; а дальше — уж как пойдет.

Итак.

Борис Лейбов, «Мелкий принц» (М.: Лайвбук, 2024). Главное оружие Лейбова — стиль: упругий, яркий, точный. В «Дорогобуже», предыдущей книге Лейбова, этому мешала переусложненная и тематически вторичная (от Сорокина) романная конструкция. В нынешнем сборнике этот стиль на своем месте: в короткой прозе. Повесть и десять рассказов. Все, по сути, об одном. О взрослении, подростковой дружбе, усложняющихся отношениях с родителями и первой любви. И о мире и его хрупкой и нестойкой красоте. «Смерклось. Я вошел в мамину комнату запереть бьющуюся о раму створку. Холодная спальня погрузилась в сумрак по хрустальную люстру, и только фары дальних автобусов на Профсоюзной улице изредка ездил по потолку».

София Сеницкая, «Чёрная Сибирь» (СПб.: Лимбус-пресс, 2023). Чёрная Сибирь — название загадочной душевной болезни, которой страдает главный герой, Гастон Мушабьер. Весной 2022 года он бежит от неё из своей Франции в зону военных действий на юго-восток Украины, воевать волонтером в ВСУ. Здесь судьба сталкивает его с ещё двумя компатриотами: монахом Бернардом, выкапывающим мертвых из-под рухнувших зданий, и Катаром, воюющим за Донецкую республику... Ход, позволивший автору «остранить» войну: описать ее глазами иностранцев, и с разных позиций.

¹ Решением Минюста РФ внесена в список иноагентов.

«Чугунков с завистью смотрел, как капуцин торжественно молится на восток над окопами теробороны... Брат Бернар разгрёб угол с обгорелыми иконами, которые Славик решил убрать за ненадобностью. Он поставил их на почетное место возле алтаря, украсил цветами, клал поклоны и падал ниц на каменный пол, согретый донецким солнцем, проникавшим через выбитые окна и дыры в стенах».

Юлия Яковлева, «Поэты и джентльмены» (М.: Новое литературное обозрение, 2023). Еще один роман о военных событиях, только других. Разгар Крымской войны, англо-французский флот под командованием адмирала Немира на всех парах движется к Петербургу. Неожиданно в действие включается странным образом воскресший Владимир Даль — ему известно, что результатом этого вражеского рейда станет полное разрушение северной столицы и гибель России. Единственный способ отразить нападение — литература; именно она сможет изменить ход неудачной для России войны. Итак, в противоборство вступают две группировки писателей. С одной стороны, собранные Далем Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Чехов (столь же необычным образом воскресшие), а с другой — Мэри Шелли, Джейн Остин и Анна Радклифф... Я не большой любитель подобных постмодернистских резвостей, но роман стоит прочесть хотя бы за великолепный стиль. «Пахло дёгтем, углем, дымом — короче говоря, вокзалом. Под крышей порхали чумазые воробьи. Оркестр выдувал что-то медное. Встречал генерала Келлера — прямиком с театра военных действий в Маньчжурии. Гавкали команды. К запруженному перрону подползал, работая железным локтем, паровоз, как бы дотягивая вагоны из последних сил. Первый класс, второй».

Андрей Убогий, «Жизнь АУ» (Калуга: ИП Стрельцов И.А., 2023). В трех книгах, изданных в количестве шести (!) экземпляров. Дневник, который автор начал в 1980 году, семнадцатилетним. Записи чередуются с краткими комментариями, пояснениями и размышлениями из дня сегодняшнего. Дела медицинские (основная работа), дела литературные. Калуга (место жительства), Смоленск (место учебы), Москва; походы по рекам, путешествия. Личная жизнь, жизнь социума. Более краткие ранние записи; более пространственные и рефлексивные — поздние. О вере, о смысле жизни и ее нечаянных радостях. Просто, точно, лирично. «15.11.<2022> Отказ из “Нового мира”: ну и ладно. Может, пошлю “Рай” в “Наш современник”. Ночью в саду с Алёной. Водка под холодные душистые груши. Счастье! Потом смотрели “Отпуск в сентябре”».

И — поскольку предложено упоминать и нонфикшн — не могу не упомянуть первый том «Летописи жизни и творчества Б.Л.Пастернака» (М.: Бослен, 2022). Совместный труд двух замечательных пастернаковедов — Анны Сергеевой-Клятис и Рахель Лихт. И очень логичный, после выхода в прошедшее десятилетие, почти друг за другом, летописей жизни Ахматовой (В.А.Черных), Мандельштама (А.Г.Мец и др.) и Цветаевой (Е.Б.Коркина). Книга, охватывающая жизнь поэта с рождения до 1924 года, отлично издана, богато иллюстрирована фотоматериалом; читается залпом. С радостью обнаруживаешь, что и стихов, и любимых женщин, и общественных интересов у молодого Пастернака было больше, чем казалось (хотя считал, что, вроде бы неплохо знаком с биографией поэта). Будет ли продолжение, должно занять как минимум еще два тома? Вопрос. Одна из соавторов, Рахель Лихт, увы, ушла в 2023-м; хотелось бы верить, что Анна Сергеева-Клятис сможет довершить этот замечательный проект, и он не замрет на первом, и единственном, томе.

Мог бы назвать ещё несколько поэтических сборников — но уже выбрал отведенный редакцией лимит (и по количеству книг, и по количеству знаков), да и надеюсь поговорить о них отдельно, в традиционном годовом обзоре.

Ольга Балла, литературный критик (г. Москва)

О книгах-неоднедневках

...Скорее, о неоднедневках, то есть в порядке спора с тем — неведомо откуда взявшимся (но наверняка небезосновательным) — мнением, согласно которому книга живёт один год — а потом, значит, тонет в пропасти забвенья.

Вот мой скромный (и неминуемо неполный) список тех изданий последних лет двух-трёх (раз уж речь о том, что живёт явно больше одного года, мы вправе расширить таким образом временные рамки!), каждое из которых, по моему разумению, наш год переживёт и тленья убежит.

Виктор Кривулин. Т. 1: Поэзия; Т. 2: Проза / Сост., послесл. и коммент. О.Б.Кушлиной и М.Я.Шейнкера. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023;

Генрих Сапгир. Собрание сочинений. Т. 1–4. (Т.1: Голоса; Т.2: Мифы; Т.3: Глаза на затылке; Т.4: Проверка реальности). — М.: Новое литературное обозрение, 2023–2024.

В числе таковых непременно окажутся большие компендиумы, собрания-однотомники, скажем, стихов значительных поэтов за многие годы, например:

Владимир Бурич. Тексты: Собрание сочинений / Предисл. Е.Белаш; сост., подгот. текста и примеч. М.Амелина и И.Чернышёва. — М.: О.Г.И., 2023;

Ирина Ермакова. Медное зеркало. Стихотворения 1987–2020. — М.: О.Г.И., 2023;

Светлана Кекова. Яблоко и крест: Избранное / Предисл. Н.Резниченко. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2021;

Пётр Чейгин. Зона жизни: Избранные стихи 1967–2023 годов / Предисловие Антона Азаренкова. — М.; СПб.: Т8 Издательские технологии / Пальмира, 2024. — (Часть речи).

Я бы включила сюда ещё и по крайней мере одно собрание — критических текстов, которое переживёт нашу сиюминутность уже хотя бы потому, что автор предлагает в нём особенный, только ему свойственный тип критического взгляда, устройству которого ещё предстоит быть осмысленным:

Андрей Левкин. Искусство прозы, а заодно и поэзии / Сост. С.Снытко, А.Заполь. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. — (Критика и эссеистика).

Из прозы несомненно достойно внимательного вчитывания (и перечитывания):

Олег Юрьев. Винета: роман / Предисловие Валерия Шубинского; послесловие Татьяны Баскаковой. — М.: SOYAPRESS, 2024.

Стоит назвать также по крайней мере один философский текст, предлагающий ни много ни мало новую философскую категорию и осмысляющий — не то что новую,

совсем нет, но доселе не подвергавшуюся систематическому философскому осмыслению экзистенциальную позицию:

Елена Косилова. Бессилие. — М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2024;

и одно весьма нетривиальное исследование по теории культуры:

Владимир Микушевич. Умная сила: опыты по исследованию творчества. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2022.

В этом списке непременно должна быть ещё пара изданий, обладающих, на мой взгляд, большим потенциалом всевременности (многовременности) и достойных упорядочивающего разум перечитывания. То, что всё это эссеистика, связано едва ли не исключительно с кругом чтения автора этих строк:

Шамшад Абдуллаев: Перечень: эссе. — М.: Носорог, 2023;

Владислав Дегтярёв. Память и забвение руин. — М.: НЛО, 2023. — (Очерки визуальности);

Любовь Сумм. В поисках Итаки. — М.: Практика, 2024.

Из переводов — это точно на много лет вперёд:

Симона Вейль. Тетради / Перевод с французского Петра Епифанова. — Т. I–IV. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016–2022

и книга статей и писем того же автора:

Симона Вейль. Статьи и письма. 1934–1943 / Перевод с французского, сост., предисл., вступит. заметки, примеч. и послесл. Петра Епифанова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023.

Мария Бушуева, литературный критик, прозаик (г. Москва)

Необъяснимая писательская магия

Проблема не сегодня возникла. Еще в 1830 году Н.А.Полевой писал А.А.Бестужеву: «Нам, нынешним литераторам, не быть долговечными. Таково наше время. Счастлив, кто возьмет у будущего вексель хоть на одну строчку в истории». А ведь 1830 год — это «Домик в Коломне», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и много чего ещё пушкинского, в то же время — «Майская ночь, или Утопленница» Н.В.Гоголя. В 1830 году писали и публиковались П.А.Вяземский и Е.А.Баратынский. Но, возможно, Полевой всего лишь скромно ставил самого себя в ряд «недолговечных» литераторов, используя множественное число для самоуспокоения: он такой не один.

И тогда понятно: сегодняшняя проблема недолговечности интереса к издаваемым книгам и новым публикациям — иная. Причина ее обозначена в самом вопросе: «из-за интенсивного издательского потока и устоявшегося регламента премиального цикла» книга живёт год. Но эта причина, как мне кажется, не единственная. Любопытно наблюдение прозаика, главного редактора издательства «Выргород» Льва Наумова. Со своими студентами Наумов договорился, что каждый прочитает по два романа, которые прежде не читал. Когда «стали обсуждать результаты, выяснилось следующее: практически никто не взял книгу, написанную в XXI веке. Две трети пришлось на XIX столетие и одна треть — на XX». («Формаслов», 15.06.2024). Вывод напрашивается сам: современную прозу студенты читать не хотят. Почему? На сайте одного из известных сетевых издательств читатель оставил свой отзыв о премиальном романе: «Это не художественная литература, а художественная публицистика. Роман будут читать, пока факты и рассуждения автора актуальны». Если соединить наблюдение Наумова с этим отзывом, мы получим вторую причину: в погоне за актуальностью писатели всё сильнее склоняются к публицистике, оформленной «под художественность». Студенты обратились к двум прошлым векам, чувствуя: там настоящие *долговечные* романы, поднимающие вечные темы, там не сетевой, а богатый русский язык. Даже самый политический роман Достоевского «Бесы» отнюдь не публицистика в художественной раме. В нём тоже — необъяснимая писательская магия, оживляющая текст. Такая магия сохранилась в поэзии, поэтому лучшая современная поэзия имеет все шансы жить долго.

Если разговор идет о нон-фикшн, ситуация особая. Хорошо и долго читаются биографии (лишенные тенденциозности). Закономерно предположить, что не однодневки: *Глеб Шульпяков «Батюшков не болен»* (2023), *Александр Сегень «За мной, читатель! Роман о Михаиле Булгакове»* (2023), *Александр Федосов «Бажов»* (2024), *Валерий Шубинский «ОБЭРИУ. Биографии»* (2024). Но поскольку с биографиями я подробно не знакомилась, отмечу те пять произведений, которые, как мне кажется, не обречены на короткую литературную жизнь.

Роман в исповедальном стиле *Александра Мелехова «Испепелённый»* («Знамя», 2024, № 1—2) и его же повесть «*Завещание осла*» («Дружба Народов» 2024, № 3) рассказывают о боли, возникающей на линии разрыва отцов и детей. Конфликт, перерастая в трагедию, становится не просто личным, семейным, но, как в романе Тургенева, — мировоззренческим, уводя к вечным смысловым вопросам.

Если читатель осилит монотонное начало романа *Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото»* (2024), он обнаружит, дойдя до осады крепости, очень сильные страницы, точные и зримые. Здесь есть все: действие, яркие описания, колоритность национальных деталей и — жуткие зримые картины войны. Над всем этим главная тема: предупреждение о рисках расчеловечения. Как-то Юзефович заметил: «Дух времени сильнее личного опыта». Но как раз в этом романе совсем не героический русский офицер сумел не попасть под гипноз жестокого духа войны. Во время прочтения вспомнилась мне повесть Геннадия Литвинцева «Молодым не ходи в Гуандун. Записки о бедствиях войны, написанные Ли Вэньхуа, конфуцианцем».

Важность темы, поднятой Юзефовичем, притянула книгу *Захара Прилепина «Собаки и другие люди»*, которая тоже в премиальных списках. Казалось бы, здесь — очеркистика, однако, та, что незаметно превращается на страницах в художественную прозу. Прилепину в дар не откажешь. Но и название, и сам текст навели меня на грустные мысли: очеловечивание животных нередко идет параллельно расчеловечиванию людей. Книгу будут читать как фанаты собак, так и те, кто увидит в ней тревожный знак.

Почвенническая проза всегда тяготела к человеку, к гуманизму. В трагической повести *Николая Олькова «Мать сыра земля»* («Бийский Вестник», 2023, № 4 (80)) очень интересен главный герой — бывший фронтовик, инвалид: такой крестьянский князь Мышкин (на чудиков Шукшина не похожий). Автор — тюменец, возможно, потому живут в повести и русские, и татары. На последних страницах не педалируемый вывод: национализм и бандитизм идут рука об руку. В Сети на Дзене каждая глава повести набирает более 20 000 прочтений. Ясно, что и дальше книгу читать будут.

Будут, скорее всего, читать и рассказы *Ильи Карамышева («Через зеркало»*, 2023). Автор с индивидуальным видением, что интересно всегда. Хотя язык рассказов несколько механистичный, как раз лишенный индивидуальности (по-моему, это общая беда литераторов, воспитанных соцсетями). И здесь пример студентов Наумова был бы кстати.

Татьяна Веретенова, литературный критик (г. Москва)

«Читает стоит “непонятное”»

Да, интенсивный издательский поток регулярно приносит волны новых книг, которые гребнями нарастают на рабочих столах критиков. Полагаю, что можно выявить несколько причин книжного долголетия. Ведь важно не только привлечь читательское внимание, но и удержать его. Из прочитанных в этом году назову прежде всего книгу *Глеба Шульякова «Батюшков не болен»*. Здесь не только интригующее название и предмет (субъект) авторского интереса, не только увлекательная манера изложения, но масштабное пятилетнее исследование (архивные изыскания, поездки по местам, где жил Батюшков), анализ не только личности и художественного творчества поэта, не только исторического и семейного контекста, но и портреты современников, и смысловой мостик к дню сегодняшнему, осмысление места и роли Батюшкова в русской литературе с дистанции в 200 лет. Такие научно-популярные книги готовы встраиваться в учебный процесс высшей школы и потому жить долго и радовать поколения студентов. (Мне жаль, что не довелось прочесть такую книгу в годы учебы в МГУ или раньше.)

Иной вид долгоживущего нонфикшна — достоверные, содержательные, умные, образные воспоминания человека мудрого и известного, жизнь которого была (есть и поныне) публичной и насыщенной яркими событиями. В качестве примера этого года назову толстый том художника *Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания»*; от прочих книг воспоминаний он отличается обилием авторских (по-шемякински своеобразных) черно-белых рисунков. Однако долгую читательскую жизнь этой книге может подарить не только громкое имя автора, но и его легкая манера изложения (несмотря на трагизм многих описываемых событий), и любопытные факты, детали и колорит ушедшего времени, а главное — его установка прежде всего рассказывать о людях, с которыми ему довелось общаться, и лишь потом о себе (о себе постольку поскольку).

Другой (и наиболее очевидный) случай возможного книжного долголетия — кто-то из крупных писателей (уже выросших до статуса классика) создает удивительно удачный, какой-то прекрасный текст, хоть сразу в школьный учебник (а попадание

Ольга Балла

Перегородка с разноцветными стёклышками

Афанасий МАМЕДОВ. Шебеке: Ностальгические этюды. Эссе. Литературная критика. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2024. — 352 с.

Афанасий Мамедов — выросший в Баку русский прозаик, журналист, литературный критик еврейско-азербайджанского происхождения, автор сборников повестей и рассказов «Хазарский ветер» и «Хорошо, что только раз», романов «Слон», «Фрау Шрам», «Патриций» (в соавторстве с Исааком Милькиным), «Пароход Бабелон», — человек трёх культурных миров сразу, связанный с каждым из этих миров, с тройным объёмным зрением. Свою восьмую книгу, написанную, как и все предыдущие, по-русски и названную азербайджанским словом («Так на моей далёкой родине, — говорит Мамедов, — когда-то называли оконные переплёты, межкомнатные перегородки и решётки, собранные из деревянных составных элементов, часто с разноцветными стёклышками, а само название происходит от арабского “шабака” — сеть...»), он составил, подобно такой перегородке, из небольших разнородных текстов. Написанные в разное время по как будто разным поводам, публиковавшиеся в разных изданиях («Октябрь», «Дружба народов», «Лехаим...»), они объединены общей принадлежностью, как говорит аннотация, к «жанру pop-fiction», хотя нон-фикшн, конечно, никакой не жанр, а всего лишь условная противоположность откровенному вымыслу. А если уж мы о жанре, то перед нами несомненная эссеистика с мемуарным компонентом и литературная критика, которая в данном случае тоже, скорее, эссеистика. Тексты, жанровую принадлежность которых сам автор обозначил как «этюды», если и отличаются от эссе в классическом его понимании, то разве что вольностью, прихотливостью своей структуры, непредсказуемостью ассоциативных ходов. Некоторые же из здешних текстов — целиком включённые в книгу на правах послесловий к «этюдам» письма автора к разным собеседникам (к поэту Ирине Ермаковой, к прозаику, филологу, критику Леониду Бахнову) о текущих обстоятельствах своей жизни и об актуальной литературной работе. С известной долей условности все вошедшие сюда тексты делятся на три типа, каждому из которых соответствует своя часть сборника.

Открывающие книгу «Ностальгические этюды» — по видимости бессистемные, вспышками, воспоминания о начале жизни, о её исходных стимулах, о сбывшемся и несбывшемся в их неразделимости: о бакинском детстве, о московской молодости, о коренных, основополагающих людях, пространствах, предметах, впечатлениях, разговорах, чтении тех времён... — они же часто и заметки дневникового характера о тех обстоятельствах, на фоне которых, по поводу которых автор всё это вспоминает. На такие воспоминания не раз наводит Мамедова Израиль, неизменно возвращающий его к собственным азербайджанским, бакинским истокам и вообще каким-то таинственным образом связанный с ними, может быть, даже сделанный с ними

из одного вещества: «А вот эта палестинская красавица, склонная к террору, нежность пяток которой я прозреваю с крепостной стены, разве не похожа сразу на трёх сестёр Юсуповых, по которым тихо ныло юное моё сердце. А ультраортодоксальный еврей-ашкеназ, в плоской гондольерской шляпе и белых гольфах, на которого мы обратили внимание ещё у ворот в город, чем не Беня, младший сын Клары Исааковны с того двора, что был отделён от нашего двумя заборами — новым каменным и старым деревянным». И чего он только не вспоминает! — старый чемодан с рукописями; не освоенные в детстве языки («Отправившись на поиски “своего” языка, я со временем обнаружил целых два “обязательных” — ими оказались азербайджанский и идиш. Языки счастливого детства, языки, параллельные русскому, лишь по какому-то недоразумению мною не освоенные»), разговор о Бабеле одной бакинской ночью (ставший решающим в восприятии мемуариста этого писателя), «волшебный процесс проявления фотографий под неестественный красный свет фонаря», дом на бакинской улице Джафара Джаббарлы, где автор жил до отъезда из города, — «очаг старинной еврейской семьи», много лет хранимый его матерью-азербайджанкой; продажу бакинской квартиры; портрет неизвестного цадика, висевший в этой квартире и ставший для Афанасия его первым храмом... Один из таких спусков в прошлое, этюд «Волк» (тоже ностальгический!), самый короткий — не занимает и страницы, — оказывается и наиболее глубоким и ведёт автора к истокам дочеловеческим: о том, как на ночной безлюдной улице, защищаясь от стаи диких собак, он заговорил с её вожаком по-волчьи: «Горло с непривычки было подрано звериным рыком. Возвращение к человеческой речи стоило мне девяти дней немоты. И всё это время я был волком, без имени, без стаи — но с душой победителя».

Раздел «Эссе» — ...хм, а ведь о том же самом, разве что из времён более поздних, хотя тоже не всегда: о людях и явлениях, ставших в каком бы то ни было отношении важными для становления личности автора независимо от степени близости его отношений с ними и даже от личного с ними знакомства, — так что эти этюды, на самом деле, тоже вполне ностальгичны. Тут в одном ряду с поэтом Татьяной Бек, с писателем Львом Новогрудским (он же — родной дядя мемуариста) оказывается «порочный представитель сорока веков» Валерий Брюсов («Я открыл для себя Брюсова-прозаика буквально накануне отъезда в Москву и, как это часто бывает с людьми в момент резкого поворота в судьбе, восприятие моё было обострено настолько, что многие вещи из этой книги запомнились мне на всю жизнь», — вспоминает Мамедов о своём «судьбоносном» знакомстве с несправедливо, по его словам, забытым автором), и Юрий Олеша, и дважды открытый для себя автором Джером Дэвид Сэлинджер, Джеймс Джойс (опять же не то что недооцененный, но как-то недостаточно, по мысли автора, освоенный и понятый: «И если Эзра Паунд прав, назвав “Улисс” отчётом эпического размаха о состоянии человеческого ума в XX веке, то следует признать: с отчётом этим наша память, увы, не справляется. И верную дорогу к изгнанию, которую открыл для нас Джойс, мы вечно теряем из виду, продолжая жить там, откуда нас гонят...»), и очередное издание комментариев Юрия Щеглова к диалогии Ильфа и Петрова (разговор о нём — разговор прежде всего о важности работы комментирования), и поэма Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайте и комиссаре Блох», «естественное и благородное своеобразие» которой Мамедов считает «важной частью основания» своей судьбы и одним из истоков своей еврейской идентичности: «И дело тут не только в том, что на Песах за праздничным столом я, по просьбе взрослых, читал отрывки из этой поэмы, которые до сих пор помню наизусть, но в той данной Богом силе, которой обладает любая травинка, занятая своим произрастанием в бесприютном мире, или любое произведение, которому всё равно, какой строй на дворе — монархический, революционный, демократический или... комсомольско-олигархический». (И это, кстати, тоже разговор о несправедливо забытом или, скорее, о недооцененном, о не рассмотренном так, как оно того заслуживает: «“Повесть о рыжем Мотэле...” —

как к ней ни относиться — не уступает многим шедеврам советской литературы, хотя некоторые исследователи 1920—1930-х годов полагают, что вышла она из произведений Бялика, Жаботинского, Маяковского и потому-де, мол, “вторична”, не оригинальна. Нет, возражает Мамедов, поэма Уткина как раз «оригинальна, самобытна, поскольку отвечает не на вопросы Жаботинского и Бялика, но исключительно на свои. А то, что Уткин угадал с ними, то, что в итоге они оказались вопросами не только его, так это свойство дара — угадывать, прозревать»..) Из этого ряда несколько выбивается всё-таки поставленная в него река Дон — её краткая культурная история, начиная с древних римлян, — без всяких, однако, отсылок к личной истории автора.

И, наконец, раздел «Литературная критика», тексты которого посвящены прежде всего литературе — но к критике в строгом её понимании тоже относятся с большими оговорками. Чем, собственно, занимается критика? — она оценивает новейшие литературные явления, ещё не занявшие своего места в литературной иерархии (или, если угодно, на литературной карте), ищет им такое место, рассматривает, как и почему именно так они устроены, вписывает их в актуальные контексты. Так вот, в поле критического зрения Мамедова попадают в числе прочего произведения, написанные несколько или даже много десятилетий назад, уже не раз прочитанные, проговоренные и продуманные, — Мамедов чувствует необходимым подвергнуть их перепрочтению и перепродумыванию заново.

Так, объектом его рассмотрения оказывается книга Кортасара «Я играю всерьёз», творчество Кортасара вообще, сам Кортасар; «Мысли, приколы и всякие выкрутасы» Сержа Генсбура и сам Генсбур; «Периодическая система» Примо Леви и его трагический жизненный опыт; изданный «Текстом» сборник классика зарубежной фантастики Роберта Шекли «Лабиринт Минотавра» и сам Шекли; сборник эссеистики Уистена Хью Одена «Рука красильщика и другие эссе»; роман «1984» Джорджа Оруэлла — вот уж точно многократно (не то слово!) отрецензированный и проанализированный — и сам Оруэлл, книга Чарльза Буковски «Из блокнота в винных пятнах» и сам Буковски; «иронические детективы» Иоанны Хмелевской, сама Хмелевская, отношения жанра детектива с серьёзной литературой и природа влечения к нему читателя, тут же — значение для советских людей польской культуры; коллективный роман, написанный девятью писателями по инициативе Валентина Катаева в 1960-х годах, и даже книга Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника женщины», впервые представшая перед читателями в 1910 году. Причём ни в одном из перечисленных случаев выходные данные рецензируемых книг не указаны, что в свете канонически понятого рецензирования неправильно, любой редактор придрался бы, — но это перестаёт иметь значение, если мы начинаем рассматривать эти рецензии как эссеистику, а каждое из обсуждаемых изданий — как всего лишь отправную точку для разговора на более широкие темы. Так, при обсуждении книги Василия Аксёнова имя её автора впервые появляется на третьей странице рецензии (как, кстати, и при разговоре о детективах Хмелевской), название её — на четвёртой (зато потом рецензент долго и старательно пересказывает содержание книги, чего в рецензиях тоже делать не стоит). Ни в какие правила это не укладывается, но автор и не собирается им следовать — у него другие задачи. Он, скорее, использует ситуацию рецензирования для того, чтобы высказать важные для себя мысли, а обсуждаемые книги ему в этом помогают.

Из современников-соотечественников здесь — Павел Белицкий с поэтическим сборником «Разговоры», важный для автора поэт Ирина Ермакова с книгой стихов «Колыбельная для Одиссея» (обе книги — 2002, тут выходные данные уже указаны) и с большим её избранным 2023 года «Медное зеркало», поэтическая же книга Максима Амелина «Конь Горгоны» (2003), разные книги Глеба Шульпякова, «Бумажный пейзаж» Василия Аксёнова, две книги русскоязычного израильянина Якова Шехтера («...Русскоязычная израильская литература оказалась одним из форпостов современной российской словесности», — говорит Мамедов, — в этом

случае жаль, что в книге о ней сказано так мало: кроме Шехтера, её представляет здесь ещё Давид Маркиш с книгой «От черты до черты»). Из других израильских — уже ивритоязычных — современников здесь только Цруя Шалев с романом «Биография любви». И выходные данные снова пропадают...

Общая картина как будто не складывается, но само преобладание в «литературно-критическом» разделе книг и текстов, написанных не сегодня и не здесь, наводит на мысль о том, что если искать пронизывающих всю книгу движений, действующих на всех её материалах, то к ним непременно должны быть отнесены, во-первых, пересмотр, перепрочтение, перепродумывание — всего, от текстов и их авторов до собственной жизни, а во-вторых — понимание литературы как одного из вернейших — может быть, самого верного — способа говорить о жизни и чувствовать её.

Сам Мамедов не предпринимает попыток выстраивать из всего, собранного в книгу, какую бы то ни было систему, но в том и нет нужды: чем большая свобода предоставлена в текстах мысли, памяти и воображению, тем вернее книга создаёт такую общую картину за него.

Даже рассуждая о предметах, с литературой как будто напрямую не связанных, — да хотя бы о старом чемодане со сломанными замками или о реке Дон, — Мамедов всё равно говорит о литературе (о своих ли отношениях с нею, о ней ли вообще), поскольку связано с нею, на самом деле, всё, и за что ни возьмись — всё окажется ключом к её пониманию. Сама ностальгия «этюдов», само восстанавливаемое по внутренним вспышкам прошлое оказывается прямым путём к ней; в неё, как в Рим, ведут все дороги. Ну, чемодану со сломанными замками, этюд о котором (неспроста) стоит в книге первым, сам Бог велел стать такой дорогой: он — часть литературы уже хотя бы потому, что ещё в девяностых годах минувшего столетия автор хранил там свои начатые и не доведённые до конца рукописи, — но это даже не главное. Мысль автора устроена таким образом, что, оттолкнувшись, скажем, от того же чемодана, непременно уводит к предметам, отстоящим от него максимально далеко — зато глубоко литературным: «Если верить Полю Валери, истина в силу своей недостижимости и неизменности банальна, а вот интересными, неожиданными и оригинальными оказываются лишь наши блуждания в потёмках — они-то и есть тьма-тьмушая тем и сюжетов. Это то, что было крепко усвоено XX веком. Потому-то и появились в мировой литературе такие герои, как Ганс Шнир и Ник Адамс, Джей Гэтсби и Холден Колфилд Орасио Оливейра, и Лев Глебо... Глебович Ганин, и Годунов-Чердынцев, и Аурелиано Буэндия, и... Они-то и есть то самое “Икс-центрическое” и “Икс-зотическое”, без чего нет настоящей литературы, они-то и есть сюжет, песочные часы времени». Одно только это замечание — на целый литературоведческий трактат, который так и остаётся тут свёрнутым в своей потенциальности. А заговори он о литературе — как не втянуть в этот разговор громадных пластов связанной с нею жизни? (Так, чтобы войти в рассуждения об антиутопии Оруэлла, Мамедов вспоминает свою работу в отделе букинистики книжного магазина-салона «Летний сад» в девяностых, то, как обилие книг начало ему надоедать всего-то через полтора года, как он вообще-то мечтал в своё время «оказаться отрезанным от цивилизации то ли обильным снегопадом, то ли неожиданным вирусом, в каком-нибудь средневековом замке, в библиотеке, составленной несколькими поколениями аристократов духа»... что с позиций классического рецензирования опять-таки ну совсем не требуется, — но куда же без такого эссеистики?)

Конечно, как мы уже заметили, в текстах всех трёх разделов книги автор так или иначе обращается к собственным смысловым, символическим, эмоциональным истокам и стимулам. Но более того — едва все эти тексты разной степени фрагментарности собрались под одной обложкой, немедленно стало очевидным, что книга — на самом деле вся об одном: о связи литературы и жизни, глубочайшей и нерасторжимой настолько, что думать о них порознь практически невозможно — да и не нужно. И никакой перегородки, даже искусно собранной из многих деталей и с разноцветными стёклышками, между ними нет.

Борис Минаев

Тройка навсегда

Мой репетитор по литературе (а впереди были вступительные экзамены и сочинение) — как-то раз спросил, какая у меня любимая книга, я зачем-то сказал, что «Двенадцать стульев», хотя это была неправда. «Нет-нет, это ужасно несмешная и скучная вещь. Вот “Мёртвые души” — это, может быть, самая смешная книга в мире», — убежденно ответил он. Я был не согласен совершенно.

Человек он был едкий, не очень приветливый, но явно умный. Ходил я к нему всего три или четыре раза.

Дело происходило, страшно сказать, в 1976 году. Жил он на Комсомольском проспекте, в том доме, где был книжный магазин, — напротив Дворца молодежи. Получив очередное домашнее задание и очередную порцию язвительных замечаний, я вышел на улицу и остановился, чтобы чуть отдышаться.

Вокруг была советская Москва — всё пестрело лозунгами, плакатами, призывами. «Миру — мир!» — «Решения XXV съезда партии — в жизнь!» — «Вперёд, к победе коммунизма!» Мысль Николая Васильевича Гоголя о бойкой и «необгонимой» тройке, которая несется не разбирая дороги сквозь исторические эпохи, времена, всё быстрее и быстрее, и ещё там было что-то про все остальные народы, которые с изумлением на эту птицу-тройку глядят, — казалась мне тогда, мягко говоря, не очевидной.

Напротив, было полное ощущение, что при Брежневке птица-тройка навсегда остановила свой бег. А лошадей отвели на конюшню. Что все эти лозунги, портреты Ленина и членов Политбюро — они тут будут всегда. Что *ничего* не может измениться в окружающей меня реальности.

Я пролистал тоненькую бумажную книжку, которую купил как раз там, в магазине на Комсомольском проспекте, — это был очередной опус Леонида Ильича («Малая земля»? «Возрождение»? «По заводскому гудку»?..), — с ужасом пытаюсь понять, какую же цитату мне нужно подчеркнуть и запомнить. Без цитаты сочинение не прокатит, я это знал. Хорошую отметку не поставят. (На самом деле, как-то потом обошелся без цитаты.)

...Ощущение, что эта самая Русь-птица-тройка — не вычурная гоголевская метафора, а единственно возможная историческая реальность, данная нам от рождения, — появилось у меня гораздо позже.

Появилось оно, когда началась перестройка, и совсем другие, не коммунистические, а скорее антикоммунистические съезды и речи народных депутатов — Сахарова, Собчака, Афанасьева, Ельцина, Травкина — начали транслировать в прямом эфире, потом митинги, путчи, чеченские войны, и когда,

разумеется, я стал сравнивать эти революционные события с другой революцией, думать о последствиях обеих революционных эпох, — вот тогда-то я вспомнил про гоголевскую птицу-тройку, тогда-то и подумал, что да, всё же это не вычурная метафора.

Куда-то она точно несется, эта самая тройка, причем всё быстрее и быстрее...

«Мёртвые души» всегда казались мне не сатирой, не пародией, не разоблачением наших русских нравов и устоев, а загадочным, мистическим, воистину тревожным текстом. И вот, наконец, я смотрю спектакль, у создателей которого обнаружился похожий взгляд на Гоголя.

В постановке новосибирского театра «Красный факел» (я её видел на сцене Театра наций) — буквально в каждом хорошо знакомом персонаже из «Мёртвых душ» будто прячется какой-то другой, незнакомый, неизвестный... Почему Коробочка оказывается томной дамой на высоких каблуках, откровенно заигрывающей с ночным гостем, а не запуганной скуповатой старушкой? Почему Плюшкин так похож на стареющего развратника, очень хорошо знающего цену всем жизненным удовольствиям, а вовсе не на сошедшего с ума старичка, превратившего свой дом в какую-то помойку?

Оказывается, в каждом из них есть «другой человек», внутренний, если можно так сказать, — другой Ноздрёв, с его маниакальными фантазиями и страстями, как будто из ещё не написанного романа Достоевского, другой Манилов, вольнодумец и романтик, другой Собакевич, маленький закомплексованный человечек, влюбленный в свою долговязую жену, патриот и государственник.

Может быть, тревожно от этого? От того, что они, такие знакомые и такие родные, вдруг меняя свое амплуа, — расшатывают нашу привычную картину мира?

А может быть, дело в общей атмосфере этого удивительного спектакля (режиссёр Андрей Прикотенко). С этими огромными лампами, в бесчисленном количестве висящими над огромной сценой, с этой бесконечной чередой странных звуков, образующих симфоническое единство. Гоголь справедливо назвал свой роман поэмой, а в этой постановке его текст внезапно становится симфонией: скрипка, рояль, аккордеон, балалайка, барабан, двуручная пила, звоны, шумы, аккорды, и кажется, что исполнители, кидая в пустоту сцены эти разрозненные звуки, говорят со зрителем на языке его подсознания...

Ведь, действительно, — мы постоянно чего-то боимся и чего-то ждем, особенно сейчас.

Для меня пиком этой накапливающейся в душе тревоги стал последний монолог о птице-тройке, музыкальная кода, где как будто сошлось всё вместе — этот внутренний хаос, это черное пространство, поглощающее тебя (музыкальный руководитель спектакля Игорь Тюваев, художник Ольга Шайшмелашвили). И эта внезапная боль.

Россия эпохи «Мёртвых душ» — это, если вдуматься, почти что мой 1976 год. Бесконечная, нескончаемая николаевская эпоха, с кровавыми войнами, вороватыми чиновниками, казенная, скучная, регламентированная настолько, что лишнего слова сказать нельзя, все всего боятся, все оглядываются на начальство. Обыватели, служащие да даже купцы, которых потом не стало, — все уверены, что это навсегда, что целые поколения так и будут продолжать жить при этой системе, при этом вечном императоре.

Какая птица-тройка?! Куда там она несется?..

Никуда она не несется — говорят нам «гоголевские типы» с их низкопоклонством перед всем, во что назначено верить, с этим тотальным «соблюдением приличий», маниакальным чиновничеством, мелким самолюбием, с этим дремучим невежеством...

Это невозможно изменить, это нельзя переделать.

Так же, как нельзя было переделать, тогда казалось, эту советскую жизнь — застывшую, как муха в меду, в неизменности своих привычек, традиций, исторического опыта.

Но, вглядываясь в этих людей, — Гоголь видит вдруг, что всё не так. Вся эта табель о рангах, иерархия, нравы, традиции, укоренившиеся в жизни общества, — да нет же, ничего этого нет и в помине!

Всё это видимость, оболочка, шелуха, ветхая и непрочная *коробочка* социальной жизни — и всё изменится, сломается в один миг.

Всё это унесет потоком событий.

И оно сломалось, причем не однажды: и в пореформенную эпоху, и в эпоху двух революций, гражданской войны, большого террора, оттепели, перестройки и 90-х... Где вы, скучные гоголевские обыватели и чиновники, куда вы так быстро деваетесь, почему испаряетесь вмиг, как какие-то социальные фантомы, превращаясь во что-то совсем другое?

Может быть, потому этот взгляд показался мне очень близким, а может быть, потому что режиссёру и актёрам (Андрей Яковлев, Денис Ганин, Константин Телегин, Александр Поляков, Ирина Кривонос, Дарья Емельянова, Егор Овечкин и другие) удалось создать странное ощущение, что «гоголевские типы», гоголевская Россия, при всех внешних отличиях, — она здесь, с нами, при нас, она вечна. Что Гоголь, как андерсеновский Кай, нарисовал слово «вечность» в своей поэме — и сам Чичиков, своими двухходовыми схемами неуловимо напоминающий «теневинок» 80-х и первых бизнесменов перестройки, и губернская «элита», и возбужденные дамы в шубах — все они отсюда, они здесь, они всегда.

И они вечно готовы к любым переменам. Только лишь что-то треснет, что-то случится. И всё опять понесется вскачь.

Кому-то, возможно, до сих пор кажется, что та «вечность», социальная дрема и фатализм, свойственные той советской жизни, или николаевской России, они-то и есть «золотой век», что можно было всё оставить как есть, безо всяких «реформ», чуть подправив словами о гласности и демократизации, ничего не тронув по сути, полагая социальный покой высшей и главной ценностью... Да, многим так кажется.

Но ещё и поэтому спектакль Андрея Прикотенко ценен и важен для меня. В нем начертана очевидная безнадежность такого взгляда на мир.

Так откуда же эта боль, возникающая в душе под сухую барабанную дробь, нарастающий гул двуручной пилы, под «звук лопнувшей струны», издаваемый балалайкой, с которой не растает чичиковский Селифан, под стихи Вяземского, которые тут очень к месту:

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьётся пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет
И хохочет, и визжит.

...Словно леший ведьме вторит
И аukaется с ней,
Иль русалка тараторит
В роше звучных камышей.

...Кто сей путник? И отколе,
И далёк ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?

На веселье иль кручину,
К ближним ли под кров родной
Или в грустную чужбину
Он спешит, голубчик мой?

Сердце в нём ретиво рвётся
В путь обратный или вдаль?
Встречи ль ждёт он не дожётся
Иль покинутого жаль?

...Мчится эта самая гоголевская тройка, и мы мчимся вместе с ней.

Боль оттого, что мы внезапно понимаем: её не остановить. Не остановить никогда. А очень хочется.

Summary

Vladimir Vigilyanskij and Olesya Nickolaeva. The Case of Gapon

We are missing something or something is soaring in the air otherwise where is the interest of the authors for the events of the early XX century from? V. Vigilyanskij and O. Nickolayeva in their co-written novel “The Case of Gapon” are investigating the mysterious historical phenomenon – the murder of this complicated character of Russian history.

Poetry

The pre-New-Year period is the time of special wishes, hopes and meditations when the poetical tuning fork is better heard. Thus is the main theme of the poems by Sergey Pagin published here. Yourij Kazarin picks up this eternal theme and leads the reader into the metaphysical space. In the collection of verses by Egvin Phet there are present the wizardry of images and magic of Time. And Vladimir Salimon now is peering into his childhood – and now meditating and philosophizing.

Julia Stonogina. Drinking the Cup

“...Heaven – and earth. The spiritual – and the earthly. Communion with blood – and the green muck with the bean pie...” In her fascinating culturological essay the japanologist, culturologist and expert in intercultural communications Julia Stonogina is knowledgeably drawing a very witty parallel between the Japanese tea ceremony and Christian Liturgy.

“Lyrical Geography”

Three authors of this issue at once have got the bug for the “lyrical geography”. The writer and musician from Perm Alexei Rachun is sailing by the river boat to the settlement Slyva (under the heading “My Small Homeland”); the prosaist from Petrozavodsk Dmitrij Novikov is opening Yakutia for himself; the writer Vassilij Avchenko is sharing his experience how having gone from the Pacific coast – eight thousand kilometers from his native Vladivostok – to the Black Sea shores to stay at home.

2024: Long-Life Books

Traditionally for the January issue we summarize the literary results of the previous year. Our regular authors, the critics Evgenij Abdullaev, Olga Balla, Maria Bushueva, Tatyana Veretenova, Konstantin Komarov, Boris Kutenkov, Alexander Markov, Nikolay Podsokorskiy, Valeria Pustovaya, Elena Safronova, Alexander Chantsev and Kirill Yamschikov are predicting the lot of the books they’ve read.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Читайте:

Мария Бушуева. «Томский телеграфист». Роман

«Вечером у него было свидание с девушкой Зоей Еремеевой, недавно окончившей гимназию и вдохновенно мечтающей "просвещать народ". Зоя однажды ловко наклеила на столб призывающую к революции листовку, переданную ей Мишкой. И, следя из-за угла соседнего дома, как жандарм сердито бумажку срывает, весело насмеялась над ним, высунув острый кончик розового язычка. Идея революции стала модой и распространялась в городе, точно инфлюэнца. Мишка Зое нравился тем, что вступил в партию социал-демократов. Ему уже исполнилось шестнадцать, хотя по-прежнему он прибавлял себе год, а порой и два, для солидности. Зоя, считающая себя "эмансипе", быстро перешла ту черту в их отношениях, какую кандидат богословия законоучитель Епархиального училища Никодим Диев, духовник её матери-вдовы, — посчитал бы запретной. Зоя и крестик уже не носила, сердясь, что Мишка почему-то не выбрасывает свой. Мишка сначала взлетал, разгорячённый девичьими поцелуями, а потом падал в какой-то долгий колодец, теряя память о происходящем, и, выбравшись снова на свет, с удивлением видел рядом с собой обнажённую девичью грудь. О помолвке речь, конечно, не шла. Вдова Еремеева метила выше: для единственной дочери она присмотрела выгодного жениха — брата жены жандармского поручика Бахерева...»